

ВРЕМЯ ИДМБ 34 1978

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
**СОВРЕМЕННЫЙ
ЛЕНИНГРАД –
В СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЕ**

*Людмила Штерн
"Двенадцать Коллегий"*



*Леонид Гиршович
Ишаягу*



ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Четвертый год издания

Выходит один раз в месяц

34
1978

ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ЙОСЕФ ТЕКОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ААРОН ЯАРИВ
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	

Зав. редакцией Марина ГОЛУБЕВА

Представители журнала:

Англия	Александр Штротас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick. Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98. 1000 Berlin 47, t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурьи 305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474 9773
США	Эдуард Штейн 7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387-05-97 USA
Франция	Ричард Кернер 24, rue Lecluse. 75017 Paris 17e, t. 292-12-61
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Людмила ШТЕРН

"Двенадцать Коллегий" 5

Леонид ГИРШОВИЧ

Ишаягу. 52

Владимир АЛЕКСЕЕВ

Смерть на заводе. 90

ПОЭЗИЯ

Олег ОХАПКИН

Твоя во тьме защита. 103

Т. ФИЛАНОВСКАЯ

Мой дождь и я. 109

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

На повороте истории. 114

ПУБЛИЦИСТИКА, ФИЛОСОФИЯ, КРИТИКА

Нафтали ПРАТ

Безумцы в безумном мире. 126

Владимир СОЛОВЬЕВ

Василий Шукшин: мания правдоискательства. 142

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Дора ШТУРМАН

Моя школа. 161

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Искусство фотографии. 201

Коротко об авторах. 216



Людмила ШТЕРН

"ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЛЕГИЙ"

(Сцены из научной жизни)

...Здание "Двенадцати Коллегий" — одно из самых ранних и значительных построек в архитектурном комплексе восточной оконечности Васильевского острова. Возведенное в 1722-1742 годах по проекту Доменико Трезини, оно предназначалось для размещения Сената и Коллегий — высших органов государственного управления России, утвержденных Петром I.

Трехэтажное здание длиной 400 м. расчленено на 12 одинаковых по размеру и внешнему облику частей. Каждая из них имеет высокую с острием крышу и свой архитектурный центр с декоративными элементами. Такая композиция, подсказанная самим Петром, подчеркивала самостоятельность каждой из коллегий и одновременно взаимосвязь их в системе государственного управления.

8 февраля 1819 года был основан Петербургский Университет, которому Александр I подарил здание "Двенадцати Коллегий".

Сейчас там находится Ленинградский Государственный Университет им. А.А. Жданова.

(Путеводитель по Ленинграду).

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

*Глава I.***ЭКСПОЗИЦИЯ, ИЛИ ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ**

Даже если вы сто раз на дню пробегаете туда и обратно по университетскому двору вдоль знаменитых "Двенадцати Коллегий" и проделываете это по девять-десять лет кряду, и то, быть может, вы до сих пор не обратили внимания на нашу кафедру. Она затерялась между магазином "Книги" и музеем Менделеева, в котором экспонируются пятьдесят шесть сундуков и девятнадцать чемоданов, созданных в порядке хобби руками гениального химика в свободное от Периодической таблицы время.

Дверь нашей кафедры перекошена и открывается неохотно. Желаящий попасть внутрь должен упереться двумя ногами в одну створку и, уцепившись за остаток ручки, со всей силой дернуть ее на себя. Если при этом ему удастся не упасть, то, возможно, он проникнет в темный, узкий коридор. На другой створке висят несколько разнокалиберных объявлений, в основном негативного свойства: "ПРОХОДА, РАЗДЕ-----, ТУАЛЕТА НЕТ". "ВХОД В БИБЛИОТЕКУ НЕ ТУТ". "КТО НЕ БЫЛ НА СУББОТНИКЕ, СТИПЕНДИИ НЕ БУДЕТ". "КТО НЕ СДАЛ ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА, К ЭКЗАМЕНАМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ".

Однажды весной двери украсились черной таблицей с золотой надписью: "Кафедра почвоведения и слабых грунтов". Вначале у нас было две кафедры. Почвоведением заведовал профессор Иван Петрович Пучков. Художественно-оформленный серебряной гривой и острой бородкой, он напоминал все портреты великих русских ученых, кроме Ломоносова. Брюшко с золотой цепочкой поперек, щегольское петербургское грассирование, неизменные "батюшка" и "намедни" делали его похожим на благородного интеллигента из "бывших". И лишь несколько довоенных, чудом уцелевших старожилы, помнят, как он "стучал" в 34, 37, 49 и 52 годах и победоносно прошел по трупам, по крайней мере, десяти человек.

Кафедрой же слабых грунтов заведовал молодой профессор Корин — спортсмен, любимец студентов, почти неотличимый от них благодаря потертым джинсам и сленгу. Он бесконечно раздражал Ивана Петровича. "Стрикулист и сопляк", — шипел наш маститый профессор, услышав, что Корин устраивает научные семинары на лыжных базах. Слух о романе Корина со студенткой Тарасюк Пучков воспринял с глубоким удовлетворением и стал пристально следить за развитием событий. Когда же из Москвы пришел сигнал о необходимости слить обе кафедры, Иван Петрович перешел в наступление и лично зачитал на партбюро им же самим изготовленную анонимку об аморальном и недостойном поведении профессора Корина. Были также ночные звонки коринской супруге и письма родителям Нины Тарасюк. Результаты незаурядной энергии профессора Пучкова тут же сказались: Корина попросили подать в отставку. Он покинул квартиру, вполне любимую жену и отправился со случайной подружкой Ниной Тарасюк искать счастья в Тюменском Политехническом институте.

Вскоре кафедры объединились под эгидой Ивана Петровича. Однако легкие победы притупили пучковскую бдительность. Он и не подозревал, каким бедам отворяет двери, поддержав кандидатуру доцента Леонова, приехавшего из Витебска читать коринские курсы. Леонов — лысый, юркий толстячок, колобком вкатился на нашу кафедру, держался подобострастно, говорил "документы" и "сантиметры" и в ответ на каждую пучковскую шутку раздражался тонким залиvistым смехом. По общему мнению, он был совершенно безопасен.

Вскоре Леонов стал абсолютно незаменимым человеком на кафедре и, как говаривал Пучков, его "правой и левой рукой". Они вместе начали писать учебник. "Мой кругозор и ваша интуиция, батенька, сотворят чудеса" — рокотал Иван Петрович, увлекая Леонова на своей "Волге" в Дибуну, где в смородиновых кустах розовела пучковская дача. Сам Иван Петрович не печатался уже лет шесть.

Пока наши герои собираются творить чудеса, давай, дорогой читатель, совершим экскурсию по нашей кафедре. Осторожно, не споткнись о набитую окурками урну, на которой выведено: "Курить воспрещается". Одна стена украшена школьной географической картой с флажками, указующими, где трудятся наши выпускники. Над картой плакат: "Все наши силы и знания — любимой Родине". Однако флажки разъехались недалеко. Алым плащом покрывают они слово "Ленинград" вплоть до Ладожского озера, целое скопище их в Москве и в Прибалтике, один счастливец попал в Болгарию и лишь одного безумца занесло в Пермь. За Уральским хребтом флажков нет. На другой стене — экстренный выпуск кафедральной стенгазеты "Молния", бичующий безобразную выходку студента Аламбека Мавлянова, высыпавшего после опыта в унитаз шесть килограммов глины. "Молния" висит уже месяцев восемь, а огромный гвоздь, намертво вбитый поперек в облезлую дверь уборной, свидетельствует о тяжелых последствиях мавляновского эксперимента. Однако для сотрудников кафедры отсутствие сортира — редкая удача. Мы исчезаем теперь на два-три часа, и, когда начальство осведомляется — где товарищ такой-то, оставшиеся многозначительно пожимают плечами: "Вы же знаете, Иван Петрович, в каких условиях приходится..."

Первая дверь налево — лаборатория мерзлотоведения. Она оснащена морозильной камерой, в которой могут укрыться четыре человека в случае пьянки, если кто-нибудь войдет ненароком в незапертую дверь. Существует легенда, что в "морозилке" можно создать температуру минус шестьдесят градусов, однако, на моей памяти она не включалась ни разу.

Лабораторию мерзлотоведения обслуживают три научных сотрудника. Старший по чину — Вячеслав Михайлович Белоусов — сухощавый, бледный молодой человек в очках с тонкой золотой оправой, безукоризненно одетый, предупредительно-вежливый, немногословный. Иногда, откинувшись на стуле и дико выкатив глаза, он хрипит и однажды до смерти напугал инспектора отдела кадров, который, в отличие от

нас, не знал, что Слава — йог и в данный конкретный миг находится в нирване. Но чаще он сидит, сгорбившись, над мелкой исписанной страницей. Ходят слухи, что Слава пишет прозу. Он никому ее не показывает, но мы полны пиетета к его жертвенной, неблагодарной работе, так как, по его словам, печатание ему не угрожает. За соседним столом, попивая чай из колбы, в клубах сигаретного дыма маячат фигуры двух других сотрудников. Это — красавец Эдик Куров в ворсистом канадском свитере и джинсах "Леви страус", и Оля Коровкина, долговязая девица, сплошь усеянная камешками. Она — дочь парторга нашего факультета. Сотрудники уже обменялись свежими анекдотами и новостями, сообщенными накануне обозревателем Би-Би-Си Анатолием Максимовичем Гольдбергом, и теперь Эдик, поглаживая притулившегося к его плечу сиамского кота Никсона, внимает драматическому рассказу Оли о том, как она "попала в облаву" в женском туалете на Садовой около Пассажа, где оживленно торгуют колготками, французской помадой, лифчиками, босоножками и всем тем, что раз в месяц для плана "выбрасывают" в универмаге Пассажа.

— Представляешь, Эдька, они ворвались в сортир — восемь здоровенных мужиков — и всех запихали в машину. В милиции стали требовать документы, насильно открыли сумки, ощупали все карманы. У меня изъяли японский зонтик, который — помнишь — я у Ритки за тридцатку купила. Вовсе я не собиралась его загонять, а просто так зашла, поинтересоваться... Они сказали, что пошлют письмо на работу. Ну, не гады ли?

— Брось, старуха, не дрейфь. — Эдик сладко потягивается. — Никого это теперь не колышет. — И он начинает — в который раз — свою бессмертную историю про то, как его замели в садике, на Литейном 57, с романом Хемингуэя "Острова в океане". Этот садик известен каждому, кто "любит книгу". Камю и Булгаков идут за 50 рэ, Мандельштам — соиздание — за тридцатку. "Новгородская икона" за 40 рэ, словом, здесь циркулирует весь тот книжный дефицит, который не достигает магазинных прилавков, будучи проданным на

корню прямо на книжных базах. А дело с Эдькой и Хемингуэем было так: какой-то тип требовал отдать ему "Острова" за десятку, Эдька уперся: "Я только меняю". Тип стал молить и заклинать. Эдька "дрогнул и сдался", а в момент, когда происходил знаменитый процесс "товар — деньги — товар", любитель Хемингуэя вытащил соответствующее удостоверение, вследствие чего Эдьку наголо обрили и уpekли на 15 суток принудительным образом перебирать гнилую капусту. А в то же самое время все члены кафедры перебирали эту же капусту как бы добровольно, только в другом овощехранилище, и Эдькино двухнедельное отсутствие осталось незамеченным. Когда же он явился в Университет еще более элегантный, но бритый и похудевший, профессор Пучков отечески осклабился: "Чудно выглядите, батенька!".

Пучков не интересовался мерзлотой и никогда не заглядывал в эту лабораторию. Ее буколическая жизнь нарушалась только раз в неделю вторжением научного руководителя "мерзлотки" доцента Миронова, широкоплечего человека с медвежьими ухватками и наспех вырубленными чертами лица. Его сиреневый нос считался отмороженным в далекой тундре. Петр Григорьевич Миронов появлялся зимой в лыжных ботинках прямо с дачи и горделиво демонстрировал синяки и ушибы, полученные при скоростном спуске с горки. Летом он привозил вяленую рыбу, банки с тертой малиной и глухим голосом посвящал Славу, Эдика и Олю в тайны соления грибов и различных маринадов.

Петр Григорьевич был дедом двенадцати внуков и владельцем трехэтажного дома в Соснове, с которого имел неплохой доход, сдавая бесчисленные клетушки ораве дачников. Петр Григорьевич не бился в местком за путевку в Цхалтубо, не хлопотал о кооперативной квартире, не влезал в буфет без очереди за бананами, не выцыганивал гараж, и на факультете за ним прочно укрепилась слава порядочного человека. Если Миронов нарушал этикет и засиживался в "мерзлотке" больше часа, Слава Белоусов сгребал со стола свою прозу и со словами: "Почему я должен это терпеть?" — уходил домой. Оля подмигивала Эдику и с криком:

"Кажется, зарплату привезли, Петр Григорьевич!" — исчезла, оставляя после себя легкий запах духов "Не забудь". Эдик больно щипал Никсона, оскорбленный кот начинал жалобно мяукать, и тогда Эдик пятился к дверям, укоризненно говоря: "Животное не ело с утра, Петр Григорьевич". Миронов оставался один, оглядываясь беспомощно по сторонам, и вздыхал без досады: "Эх, молодежь, молодежь..."

Одни утверждали, что Миронов абсолютно глух и слышит звуки только своего внутреннего мира, другие — что у него глубокий склероз и он едва осознает, что творится вокруг. Третьи считали его безучастность к кафедральным делам следствием величайшего артистизма. И так, к обеденному перерыву "мерзлотка" пустела до следующего дня. Оставим ее и мы, дорогой читатель, и двинемся дальше по темному коридору, заставленному громоздкими пропыленными шкафами, в коих, по замыслу основателей кафедры, должна была храниться бесценная коллекция грунтов. На моей памяти шкафы открывались единожды: во время генерального субботника в канун пятидесятилетия Великого Октября. Напуганная скрипом отворяемой дверцы, из первого шкафа метнулась на голову Оли Коровкиной исхудавшая крыса, а следом за ней высыпалась кипа пожелтевших газет с бесчисленными портретами бывшего товарища Сталина. Сотрудники оцепенели, и только бесшабашные студенты отважились открывать остальные шкафы. В них оказалось две пары подшитых валенок, истлевшая телогрейка, рассыпавшаяся в прах при неосторожном прикосновении, пузатые бутылки с химикалиями без названий, треснутые штативы с пробирками, невымытыми после опытов, от чего на их стенках застыли желтые и синие кристаллики неизвестных солей. К числу трофеев относились: коробка презервативов с надписью "Оболочки резиновые для компрессий" и куча образцов без этикеток, номеров и названий. "Займемся ими в другой раз", — брезгливо-величественным жестом приказал профессор Пучков, и шкафы закрыли, вернув им прежнее сонное оцепенение. Протиснувшись между шкафами, рискуя ободрать бока, мы попадаем в учебную лабораторию. Она напоминает

зимний сад: окна заставлены и завешены большими и малыми горшками и кактусами, глициниями, азалиями, цветущими круглый год благодаря заботам двух наших дам — Ривы Соломоновны Боргер и Сусанны Ивановны Петуховой. На столах — аквариумы, где таинственная жизнь золотых, черных, светящихся, лиловых рыбок постоянно отвлекает студентов от учебного процесса.

Рива Соломоновна — единственная, разрешенная руководством еврейка на кафедре и факультете. Она так напугана этим обстоятельством, что является на работу к восьми утра и сидит до позднего вечера. Робость ее легендарна. Сусанна Ивановна, или в просторечьи Сузи, неизменно составляет ей компанию, хотя анкета ее безупречна. Обе они одиноки, обеим под пятьдесят, за стенами Университета их не ждет ни один человек на свете. Рива — рыжая с плоским, словно расплюснутым лицом, ярко выраженным национальным носом и с кое-каким золотишком на пальцах — суетится во круг фауны и флоры, вздрагивая всякий раз при скрипе дверей. Сузи — курносая, синеглазая, с широкими бедрами и тонкими пальцами — обычно восседает на высоком лабораторном табурете и, глядясь в засиженный мухами осколок зеркала, поправляет высокую, сложной конфигурации прическу. Ей уже восемь лет не повышают зарплату, и с начальством она из принципа не здоровается.

О здешней жизни они обе знают все и вся: любознательные всегда могут выяснить, будет ли в этом месяце премия, ожидается ли проверка отдела кадров, купил ли декан восточного факультета румынский гарнитур, носит ли председатель месткома парик, выходит ли студентка Маслова замуж за араба Даржена и действительно ли Анна Семеновна из планового сделала аборт. По воскресеньям дамы вместе ходят в кино, а наутро с жаром рассказывают друг другу содержание фильма. К окружающим они относятся с брезгливой недоверчивостью и даже враждебностью.

— Знаешь, Сузи, — начинает Рива, — Зойка опять попросила путевку в сердечный санаторий.

— Стыда нет, — быстро подхватывает Сузи. — Я лично таких людей вообще не понимаю.

Правит дамами второй кафедральный профессор Михаил Степанович Бузенко — щуплый, остроносый, с как-то криво посаженной головой, отчего создается впечатление, что он постоянно прислушивается. Поэтому Рива его до смерти боится, а Сузи терпеть не может и в упор не видит. В придачу ко всему Михаил Степанович заметно заикается. И студенты бойкотируют его лекции, утверждая, что от "Мишкиного" голоса их тошнит и начинается аллергия. Бузенко платит им лютой ненавистью и шквалом двоек на экзаменах. Михаил Степанович, вместе со своим коллегой, "мерзлотным" доцентом Мироновым занимают соседнюю комнату — преподавательскую: столы их стоят напротив друг друга, мионовский — с зеленым сукном, бузенковский — с малиновым. О загадочности их отношений слагаются легенды. Петр Григорьевич и Михаил Степанович сидели в школе за одной партой, учились в одной группе в университете, оба благополучно избежали фронта, застряв на несколько лет в экспедиции в Сибири, а после войны оба кончили аспирантуру и стали доцентами нашей кафедры. Несколько лет назад Михаил Степанович опередил коллегу и выбился в профессора. В преподавательской обычно тихо, как в церкви, — однокашники не разговаривают друг с другом двадцать семь лет. Лишь однажды мы были свидетелями необычной сцены. Уверенный, что Миронова не будет на кафедре, Бузенко взял с его стола клей, ножницы и скрепки. Ярость внезапно возникшего Петра Григорьевича была такого накала, что мы опасались за его сердце. Он с криком: "Скрали, скрали!" метался по коридору, бросаясь на лаборантов, назвал кафедру "бардаком и скопищем жулья", ни разу при этом не обратившись к смиренно сидевшему за столом профессору Бузенко, создававшему новый научный труд при помощи "скраденных" клея и ножниц. Наутро бузенковское алое сукно было сплошь залито чернилами, и сотрудники гадали, — сам ли Миронов допер до этой тонкой мести или опрокинутый пузырек лишь роковая случайность. С той поры, между прочим, за Бузенко пополз

странный слушок, будто его бабушка еврейка, а сам он при немцах служил полицаем в Бердянске; примерно в это же время в местном поступила анонимка, утверждавшая, что Миронов строил дачу из материалов, отпущенных на нужды кафедры.

Но мы, дорогой читатель, пожалуй, замешкались в преподавательской, и пора нам двинуться дальше. А дальше — механическая лаборатория, — мрачная, сырая, с низкими сводами комната, чье уныние скрадывается присутствием измерительных приборов, носящих сугубо антикварный характер, пресов, гирь различных достоинств от пяти граммов до двадцати килограммов. Говорят, что до революции здесь размещалась прозекторская. В "механичке" царят Женя Лукьянов и Григорий Йович Фролов. Женя, как большинство мужчин нашей кафедры, не вышел ростом, у него живые черные глазки, длинный вздернутый нос и безупречный моральный облик. Глубинные знания марксистской методологии он приобрел в рядах Советской Армии, был знаком с сопроматом и теоремехом и виртуозно оперировал логарифмической линейкой. Женя знал, от какого прибора деталь валяется в углу, мог починить замок и электрическую плитку и считался всеми человеком высокой технической эрудиции. Дважды в день он неукоснительно информировал жену о том, что "выкинули" в университетском буфете, а на вопрос — когда будет дома, — неизменно чеканил: "В восемнадцать двадцать".

Его коллега Йович — угрюмый альбинос — просидел в сталинских лагерях восемнадцать лет. Об его образовании ходили смутные толки, зарплату он получал самую низкую — 90 рублей, — и потому никто на кафедре не отваживался обременять его научной работой. Целые дни он решал кроссворды на немецком языке, внушая почти мистический ужас коллегам, а в весеннюю экзаменационную страду писал бузенковской дочери школьные сочинения.

Глава II.

ПОЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ ПОВЕСТИ

Будни кафедры протекали идиллически, и нарушали их только пересуды о новой книге, которую наш заведующий задумал писать с новоявленным доцентом из Витебска. Монография Пучкова-Леонова грозила потрясти основы современного почвоведения. Особенно волновала общественность тайна титульного листа. С одной стороны — Пучков по занимаемому положению должен стоять первым, с другой стороны — буква "Л", предшествующая "П" во всех алфавитах мира, оспаривала это первенство. Разгорались споры, заключались пари, но, как говорится, жизнь внесла свои коррективы. Когда книга подходила к концу, и Сузи, печатавшая ее, уже предвкушала повышение зарплаты, как то ей было обещано, произошло событие, разом опрокинувшее все прогнозы нашей научной жизни.

На партийном собрании, посвященном зимней сессии, витебский доцент Леонов впервые попросил слова. Взобравшись на кафедру, над которой едва виднелась его лысая головенка, Алексей Николаевич обвел прищуренными глазками сонную аудиторию и высоким голосом произнес:

— Что же это происходит, товарищи? Некрасивая картина получается. — Леонов развел короткими ручками и посмотрел виновато на инструктора горкома партии по науке товарища Дубанько. — Как студенты посещают лекции? Прямо скажем — отвратительно: хотят — ходят, хотят — нет. А мы бездействуем, товарищи. Мы практически не принимаем меры. Мы не привлекаем активистов. Кстати, Иван Петрович, — обратился он к Пучкову как бы ненароком, — я человек еще новый... Как фамилии комсоргов и профоргов наших курсов?

Это был первый нокдаун. Старик никогда не помнил фамилий и называл студентов "голубчик". Сейчас он тяжело сопел, а Леонов, как бы извиняясь за свой бестактный вопрос, торопливо продолжал:

— Далее, товарищи. Неприглядно выглядит успеваемость. С виду все гладенько, а копни поглубже — далеко не все в порядке, — его лицо приняло скорбное выражение. — Судите сами: я провел большую работу — обошел все ленинградские организации, где работают наши выпускники, а в иногородние послал вопросник и получил ответы. Жалуются, товарищи, на наших студентов. Недостаточная теоретическая подготовка. Слабая экспериментальная база. И что характерно? Не знает молодежь новых приборов. И потом, товарищи, все в один голос говорят: они боятся математики!

Это уже был шах. Математику студентам читал Пучков.

— Что это вы?.. — взревел Иван Петрович, теряя царственный облик.

— Минуточку, — инструктор горкома партии Дубанько поднял холеную руку с перстнем, — Иван Петрович, разрешите товарищу Леонову закончить, не прерывайте оратора.

Дубанько имел привлекательную наружность киноактера, элегантную стрижку, замшевый пиджак. Из нагрудного кармана торчала пачка "Мальборо". На руке поблескивали японские "Сейко", в блокноте он делал пометки паркерской ручкой. Инструктор сидел непринужденно, заложив ногу за ногу, и покачивал время от времени вишневым тифлем с черными подпалинами. От него веяло международными аэропортами, бесполовыми сертификатами, таинственной зарубежной жизнью.

Ах, сдавать стал Иван Петрович Пучков, стареть. Не признал он в инструкторе горкома Георгии Алексеевиче Жору Дубанько, загорелого крепыша, мастера спорта по волейболу, любителя "дольча виты". Прибыл Жора пятнадцать лет назад из Ставрополя поступать в Ленинградский Университет, огляделся. Показалось ему заманчивым учиться на факультете журналистики. Тему для сочинения выбрал Жора нейтральную, верную: "В жизни всегда есть место подвигу". Однако пять грамматических и семь синтаксических ошибок произвели отрицательное впечатление на приемную комиссию, и к остальным экзаменам он допущен не был. Но, как известно,

— "Нам нет преград ни в море, ни на суше". Так справедливо думал Жора и вместе с ним и заведующий кафедрой физкультуры и спорта Б.П. Синькин. Он-то и позвонил нашему Пучкову, страстно желая укрепить волейбольную команду ЛГУ.

— Иван Петрович, выручайте, дорогой! Тут мальчонка со Ставрополя, Дубанько его фамилия, классный спортсмен и золотой парень. Но с сочинением, понимаешь, не справился, — ошибок накалякал. А вот с детства мечтал стать почвоведом. Парень просто прикипел к почвам и грунтам. Не пропадать же малому. — Для вящей убедительности Синькин развязно ввернул несколько украинизмов. Садовые участки Синькина и Пучкова были рядом — общий колодец, общий насос. Вечерком общий самовар и чай с вишневым вареньем.

И стал Жора Дубанько студентом нашей кафедры. До первой сессии. Ликуя по поводу экзаменационной тройки, Дубанько напился, избил свою подругу за то, что танцевала с венгром, а самого венгра сбросил с лестницы. Тот, бедняга, возьми, да и сломай себе ногу. Будь потерпевший советским человеком, дело бы замяли. А тут назревал международный скандал, и профессор Пучков смертельно испугался. На общем собрании он гневно сказал, что таким хулиганам и бандитам, даже, если они и спортсмены, не место в советском вузе. Иван Петрович так разгорячился, что требовал возбудить против Жоры уголовное дело. Но венгр не настаивал, и Дубанько просто выгнали. Хлебнул он в эту зиму лиха. Денег нет, работать непривыкший, без прописки, без дома. В Ставрополь возвращаться никак нельзя — военкомат сцапает. Кочевал от подруги к подруге и как-то продержался до лета. А там снова подался в Университет, на сей раз на философский. Видно, возникла у него за эту зиму какая-то концепция. Пить он бросил, братьев-демократов не трогал, пошел в гору по комсомольской линии, а на четвертом курсе вступил в партию. Диплом по "Основам научного коммунизма" Жора защитил с отличием.

Конечно, профессор Пучков и думать забыл про Жорудебошира, а Георгий Алексеевич Дубанько, поигрывая вишневой тифлей, живо представлял себе, как три часа подряд

дежурил у пучковского подъезда в легкой куртке, без шапки, в январский мороз, как умолял вышедшего из подъезда Пучкова о снисхождении, как клялся в рот не брать горячительного — только бы не выгоняли.

Инструктор горкома Дубанько еще раз поднял тонкую, не знавшую рабского труда руку.

— Иван Петрович, уважаемый, позвольте доценту Леонову продолжать. Прошу вас соблюдать корректность.

Пучков тяжело опустился на стул, а Алексей Николаевич Леонов тихо забубнил:

— Еще хуже, дорогие товарищи, обстоит дело с экспериментальной базой кафедры. Просто из рук вон плохо. Нет у нас элементарных приборов, а они нам жизненно, повседневно необходимы. Возьмите тот же электронный сканнинг или инфракрасные дифрактометры. А где теневой микроскоп? Я уже не говорю об ультразвуковых диспергаторах, которые стоят в любом захудалом американском колледже. И что я отвечу нашим коллегам из Колорадо — Густаву Ричардсону и Джону Митчелу? — вдруг фальцетом взвизгнул доцент, — они предлагают совместное исследование тонких структур!

Оцени, дорогой читатель, — никаких сплетен, аморалок, грязного белья. Мы еще не пришли в себя от шквала диковинных названий, а Леонов уже вытащил из кармана помятый, но явно заграничный конверт и зажужжал что-то по-английски. Зал обмер.

— Ду ю андестенд, товарищи? — наставительно спросил инструктор Дубанько, когда Леонов на секунду замолк. По рядам пронесся восхищенный гул. Слабо улыбнувшись, Леонов продолжал:

— Поймите меня правильно, дорогие товарищи. Все мы хороши, и я ни на кого в отдельности не хочу возлагать вину за положение на кафедре. Но факты, надо констатировать, упрямая вещь. Мы работаем на уровне тридцатых годов, а на дворе — семидесятые, — он неопределенно махнул рукой в сторону Менделеевской линии, и все, как замороженные, повернули головы к окну. Кругом была зима, шел крупный

снег, толстая тетка в телогрейке долбила ломиком наледь, небольшая толпа сгрудилась вокруг Тосиноного ларька в ожидании сосисок...

— Давайте, товарищи, засучив рукава, все вместе возьмем за дело. Вернем кафедре прежнюю славу. Пусть она будет достойна славных традиций Петербургского Университета!

Два дня о новаторстве Леонова слагались саги, а на третий позвонила супруга Пучкова Тамара Казимировна:

— Иван Петрович болен. Давление 240. Врачи уложили в постель.

А еще через неделю утопающий в цветах гроб с телом профессора Пучкова стоял на сцене конференц-зала, и в скорбной толпе выделялся доцент Леонов с траурной лентой на рукаве, который, по-мужски подавляя рыдания, прощался с дорогим, безвременно покинувшим нас, незабвенным Иваном Петровичем.

Не прошло и двух месяцев, как доцента Леонова назначили заведующим кафедрой. Крылась тут, однако, загвоздка: Алексей Николаевич не был доктором наук. Ситуация и в самом деле сложилась щекотливая, поскольку на кафедре имелся готовый профессор Бузенко. Ученый совет, напуганный вероломством Леонова, предвкушал его грядущую защиту, которая по всем прогнозам должна была обернуться полным провалом.

"Набросают черных шаров провинциальному гангстеру и парвеню", — шелестело по факультету, однако все просчитались. Леонов объявил свою диссертацию секретной, и она тайными путями через каналы спецотдела уехала в Москву. Там, в далеких холодных залах министерства, неведомая комиссия присудила Алексею Николаевичу докторскую степень. Наша сонная, бессюжетная жизнь чудесно преобразилась.

Несмотря на протесты Бузенко, из преподавательской вынесли ломаную этажерку и кожаный продавленный диван, оплаканный Ривой Соломоновной, — двадцать лет назад она целовалась на нем со студентом Юрой, — потом забили две двери, сломали печки. Очистили шкафы от валенок, пробинок и произведений погибших в борьбе за власть профессо-

ров. Леонов собственноручно вынес во двор двадцать семь экземпляров старого пучковского учебника со словами: "Дышать нечем от этой макулатуры". Потом он добился ремонта, лично проследив, чтобы стены были прогрессивного, желтого цвета, и даже достал дефицитный линолеум в веселенькую клетку, вследствие чего у нас утвердился карболово-формалиновый запах морга. Были даже вызваны водопроводчики для того, чтобы обсудить практическую возможность реконструкции уборной. Замыслы Леонова были безграничны — он решил установить там раковину с холодной и горячей водой.

Сознавая ответственность и сложность задачи, Алексей Николаевич принял водопроводчиков в своем кабинете и учтивым жестом пригласил садиться. Однако рабочие, церемонно поклонившись, отказались от предложенных стульев и старший — дядя Миша — выступил вперед.

— Дело, понимаешь, тяжелое, — доверительно начал он, — труб новых на складе нет — вот уж год, как заказали... Конечно дело, в БАНе* можно поспросить, но сам знаешь, народ какой... без этого никуда, — и дядя Миша, закинув голову, щелкнул себя по кадыку и причмокнул. — И бачок, понимаешь, протекает. А где его взять-то целый? — его лицо приняло озабоченное выражение. — Разве что в Молекуле**... Ну, там ребята суровые, орлы... — дядя Миша хохотнул, обнажив три уцелевших зуба. — В общем, как ни крути, хозяин, а без двух литров ратификата тут нипочем не справишься.

— Да вы что, товарищи? — опешил Леонов, — это же под- судное дело... Да и где взять столько? Мы на квартал всего-то литр и получаем.

— А это уж твоя беда, — осмелел дядя Миша. — А гидро- лизный мы не можем, потому гидролизный неочищенный. Вон в прошлом годе у геохимиков дистиллятор чинили. Дак они ребятам гидролизного нацедили... жуткое дело,— дядя Миша покачал головой, — Ширяев наш два месяца по бюллет-

*БАН — Библиотека Академии Наук СССР.

** Институт высокомолекулярных соединений Академии Наук СССР.

ню гулял отравленный... А другие, говорят, еще и слепнут. Да ихнего шефа Франка по комиссиям затаскали.

Это была чистая правда. Отчаявшись добиться ремонта официальным путем, заведующий кафедрой геохимии разрешил выдать рабочим неочищенный спирт, и один из них чуть не отправился на тот свет.

— Да вы смеетесь, товарищи! — взорвался Леонов. — Вы же на зарплате. Тут не частная лавочка. — Волна негодования подняла его с места, и он с грохотом опрокинул стул. Водопроводчики робко попятнулись.

— Ну, ну, не пыли, — миролюбиво протянул дядя Миша, — нету у тебя спирту, нету и сортиру. Со своей зарплаты и чини. — Он надвинул кепку на глаза и решительно вышел из кабинета. За ним последовали молчаливые помощники.

— Евгений Васильевич! — заорал Леонов, вылетая следом. Женя Лукьянов возник из тьмы "механички".

— Слушаю вас, Алексей Николаевич.

— Звоните в отдел снабжения... или нет, звоните проректору по хозяйству. Нет, наберите номер, я сам с ним поговорю, — шеф был багрового цвета, губы его тряслись.

Женя покрутил диск и протянул Леонову трубку.

— Отдел снабжения, — пропел мелодичный женский голос.

— Начальника мне, — повелительно начал Леонов.

— Товарищ Горидзе в отпуске, будет через неделю.

— А кто его замещает?

— Семен Иванович Петрунькин, но он в командировке.

— А кто на месте?

— Сизова, но она в обкоме.

— А кто же чинит уборные? — не выдержав, рявкнул шеф.

— Во всяком случае, не я, — снова пропел голос, и трубку повесили.

— Звоните снова, — взвыл шеф.

Женя судорожно набрал номер. После седьмого гудка трубку сняли и, вероятно, положили рядом: там слышались смех и музыка Сен-Санса. Шеф брякнул трубку и поднял снова. Раздались короткие гудки "занято" — наш телефон не отключался.

— Бандиты какие-то! Черт знает что! — разорвался Леонов, пританцовывая у телефона. — Ну, я на них найду управу. К ректору! — внезапно гаркнул он и вылетел во двор без пальто и шляпы.

Ректор Университета академик Панкратов принимал сотрудников раз в неделю и записываться на прием следовало за месяц. Леонов ворвался в храмовую тишину ректората с таким лицом, что все три секретарши побросали свои бутерброды и вязанье и уставились на него.

— Мне совершенно необходимо поговорить с Виталием Сергеевичем сейчас же, — падая на стул и задыхаясь, выдавил Леонов.

Секретарша без звука скрылась за массивными дубовыми дверьми и через секунду жестом пригласила его войти.

Академик Панкратов возвышался над полированной поверхностью письменного стола, огромного и пустого, как бильярдный, откинувшись на спинку тяжелого кресла с двумя львиными головами. Его одутловатое лицо было отрешенным и усталым.

— Виталий Сергеевич, — начал фальцетом Леонов, плюхнувшись без приглашения в соседнее кресло. — Так жить невозможно. У нас восемь месяцев не действует уборная.

— Где именно? — полузакрыв глаза, спросил академик.

— На кафедре почвоведения и слабых грунтов, — скороговоркой выпалил шеф.

Панкратов, очевидно, вспомнив недавние похороны Пучкова, приподнял веки и с интересом посмотрел на Леонова.

— Я просто бессилён, — жалобно продолжал Алексей Николаевич, — одни не хотят работать, а других нет.

— Кого именно?

— Ну, кто ведаёт... Пуридзе и Петрунькина.

— Горидзе его фамилия, — уточнил ректор, отличавшийся прекрасной памятью, — Зураб Теймурасович уже много лет не ведаёт уборными — он возглавляет строительство нового комплекса в Петергофе.

— Но, Виталий Сергеевич, водопроводчики отказываются. Вы бы слышали, как они разговаривают!

— Я слышал, — мягко сказал академик. — Я каждый день что-нибудь слышу.

— Но есть на них управа? — не унимался Леонов.

— Управы на них нет, — печально ответил ректор и пожевал губами. Внезапно лицо его осветилось идеей: "Послушайте, у вас есть на кафедре спирт? Ретификат, конечно... И не горячитесь так, берегите сердце."

В тот же день к вечеру уборная уютно и гостеприимно зажурчала.

Однажды нашу кафедру всполошил звонок из деканата. Нам было велено навести чистоту, купить торт, бутылку вина и раздобыть стаканы. Через два дня в Университете ожидалась делегация американских почвоведов, совершающих турне по стране после какого-то конгресса. Они могли случайно заинтересоваться нашей кафедрой, а мы должны были случайно быть к этому готовы.

Шеф экстренно созвал сотрудников.

— Дорогие товарищи, наш факультет посетят зарубежные ученые. Возможно, они захотят посмотреть лаборатории, познакомиться с нашими методами. Что мы можем им показать?

Сотрудники оживились и наперебой стали вносить предложения.

— Я дддумаю... их... заинтересует ссиликааатизация грунтов, — особенно сильно заикаясь, начал Бузенко.

— Это, как вы поливаете глину жидким стеклом? — медоточиво осведомился шеф, и Бузенко увял.

— Может, сдвиги и компрессии? — робко спросил Григорий Йович.

— Я очень ценю вас, товарищ Фролов, — сердечно отозвался шеф, который почему-то разговаривал с Йовичем, как с тяжелобольным. — Но такие приборы стоят там только в музеях.

Все оробели, и воцарилась тишина, но шеф напористо продолжал:

— А вы, что предлагаете, Петр Григорьевич? — нарочито громко обратился он к глухому Миронову.

— Я давно хотел спросить вас, куда мы будем посылать студентов на практику, — лето не за горами, — отозвался тот. Кругом захихикали.

— Я спрашиваю, что вы лично можете показать зарубежным коллегам?

— Слава богу, есть что, — наконец, расслышал Миронов. — МОВ, конечно.

МОВ, или Мироновский Определитель влажности, представлял собой двухлитровую жестяную банку с краном, в которой оттаивали и теряли влажность мерзлые почвы.

— Да... это... открытие века, — пробормотал шеф и, помолчав, неожиданно с горечью добавил. — Нечего нам показывать, товарищи, ну просто — нечего, — он поднял глаза на обтянутый черным крепом портрет Пучкова и, как бы обращаясь к покойному, закончил. — Стыд и позор. Словом, товарищи, чтобы не срамиться, я решил временно закрыть кафедру. Не будет в Университете вообще такой кафедры.

Все так и ахнули.

— Как? Совсем?

— Да. Совсем. Завтра после обеда сюда не возвращайтесь. Расходитесь по домам. А вы, товарищи, — обратился он к Эдику и Славе, — сорвите с дверей все idiotские объявления и заодно табличку с названием. У вас есть отвертка? Да шурупы не сорвите и свет вырубите. Здесь будет как бы нежилое помещение, — задумчиво сказал Леонов, — или склады.

— Это навеки? — радостно спросила Оля Коровкина.

— До послезавтра, — отрезал шеф и закрыл заседание.

Несостоявшийся визит коллег из-за рубежа подвиг Леонова на поистине титанические действия: на кафедре начали появляться приборы. О некоторых мы были наслышаны, фотографии других видели в иностранных журналах, но были и такие, чей невероятный вид вселял самые фантастические догадки относительно их назначения. Например, дефектометр металлов "Уран-67" — три огромных голубых ящика с миллионом разноцветных кнопок и бегающим зеленым лучом.

— Это зачем такое? — поинтересовался доцент Миронов, увидев, как шеф лично руководит установкой "Урана" в "механичке".

— Собираемся, дорогой Петр Григорьевич, изучать микро-структуры глин. Не правда ли, товарищи? — с энтузиазмом откликнулся Леонов.

Двое студентов пыхтя водрузили часть "Урана" на стол и неопределенно что-то промычали.

— Я решил создать свою научную группу и обязательно с привлечением молодежи, — задумчиво разливался Леонов, — завтра вот привезут электронный микроскоп, и мы, засучив рукава, начнем... Почвоведение, дорогие товарищи, уже стало экспериментальной наукой! — вдохновенно закончил Алексей Николаевич, — и далеко шагнуло за рамки размышленчества и рассужденчества.

Но Миронов не заразился леоновским пафосом.

— И зачем такие деньги на ветер бросать, — простодушно заметил он, — все равно он работать у нас не будет. Этот "Уран" вроде бы для металлов сделан. Купили бы лучше колб и штативов. Да и пробирки все битые, опыты ставить не в чем.

Студенты захихикали.

— Там разберемся, — миролюбиво пробормотал Леонов, однако желтый огонек, вспыхнувший в его глубоко посаженных глазах, свидетельствовал, что карьера Миронова окончена.

Вскоре обещанный электронный микроскоп прибыл. Для него пришлось освободить целую комнату, цементировать пол, подводить воду. Мерцающая серебристыми боками своих бесчисленных деталей, он безусловно стал гвоздем сезона и главным украшением кафедры. Сотрудники и студенты любили фотографироваться на его фоне, в газете "Ленинградский Университет" появилась большая статья о нашей кафедре под названием: "Научный поиск". Заканчивалась она таким снимком: Леонов, держа руку на кнопке "оп", другой показывает на пустое телевизионное табло, а группа студентов с напряженным вниманием следит за мертвым экраном.

Однажды на кафедру, перепутав двери, забрела кинохроника, направляющаяся на соседнюю кафедру физиологии. Но им так понравилась новенькая аппаратура, что они решили остаться у нас, роздали всем белые халаты и сняли за три дня научный биологический фильм "Люминесценция" о новых методах исследования живой клетки.

С той поры Леонов распорядился держать двери нашей кафедры широко открытыми. "Нам воздуха не хватает, — многозначительно сказал он. — А чтобы ваши пальто не сперли, сдавайте их в соседний гардероб".

Кафедру распахнули настежь и, чтобы дверь не хлопала, на пороге установили швабру: она косо стояла в проеме, как бы перечеркивая прежнюю отсталую жизнь.

Глава III.

НЕМНОГО ОБ АВТОРЕ И КОЛХОЗЕ "СЕЛЬЦО"

Настало время, дорогой читатель, представиться автору этого повествования. Вот пять моих пунктов: Чехович Нина Яковлевна, 1938 года, г. Ленинград, русская. Ничего сложного, но это кажущаяся простота. Конечно, Нина — имя бесспорно хорошее, русское, а вот отчество уже с запашком. Фамилия же моя обычно вызывает в отделах кадров недоумение и нервозность — то ли чех, то ли хорват, то ли похуже, но скрывается. Мое нейтральное лицо с курносим носом обычно не вызывает жгучей злобы у хмельного, хотя я и брюнетка, хотя я и в очках. Но все же веет от меня чем-то подозрительным и "ненашим". Без особых заслуг такое лицо в Университет не приглашают. Как же мне удалось?

Окончила я Горный институт с отличием и получила направление в шарагу с двусмысленным названием Ленгипроводхоз, что позволяло сотрудникам варьировать название родного предприятия в широкой гамме от Ленгипроавоз до Ленгипроунитаз. Размещалось оно в полуразвалившемся корпусе № 36 Апраксина Двора, рядом с автомобиль-

ной комиссионкой. Я помню зияющие проломами дощатые полы, круглые железные печи, источавшие крематорский жар и лютый сквозняк, гуляющий по нашим спинам и уносящий на бюллетень по двадцать сотрудников еженедельно. Впрочем, их отсутствие не влияло никоим образом на ход трудового процесса.

За 88 рублей в месяц я проектировала скважины для водоснабжения свинарников, коровников и МТС и через три года стала неплохо разбираться в сельском хозяйстве. И слава не замедлила коснуться меня.

Жил-был под Ленинградом колхоз "Сельцо". Ничем не примечательный колхоз, забытый Богом и Областным комитетом партии. Но находился он на трассе. Убогие, покосившиеся избенки облепили Таллинское шоссе, создавая для импортных туристов обманчивое впечатление бедности этого края. И вот однажды некий прогрессивный западный деятель, проносясь на "Чайке" мимо Сельца, недоуменно поднял бровь и задал деликатный, но явно провокационный вопрос сидевшему рядом Фролу Козлову, возглавлявшему в ту пору ленинградское сельское хозяйство.

Вечером того же дня в Смольном было экстренное совещание, вопрос поставили перед Никитой, и ЦК постановило: "Превратить колхоз "Сельцо" в передовое советское хозяйство, сделать Сельцо жилым поселком городского типа, городом-спутником Ленинграда". Отпустили на это миллион.

Первым вознесся абрикосового цвета клуб с колоннадой, капителями, барельефами и одной кариатидой. Затем воздвигли ясли-школу-детский сад и даже поручили левому художнику расписать стены. Обманутый теплым ветром шестидесятих годов, бедняга создал эскизы панно по мотивам Шагала, но был отвергнут. Ввиду протечки радиаторов детский комплекс пустовал два года. Потом появился блок общественного питания: кафе "Синяя птица" и ресторан "Алые паруса". Своей причудливой конфигурацией блок напоминал то ли бублик, то ли улитку, то ли нью-йоркский музей Гугенхайма. Не иначе, как архитектор Ленпроекта по-

бывал на американской промышленной выставке в Сокольниках.

Завшилось строительство города-спутника шестью пятиэтажными домами "со всеми удобствами". Однако колхозники не спешили переселяться и ликовали явно недостаточно. Куда деть личных коров, а гусей, а поросят? Эти проблемы были решены быстро и мудро — на правлении колхоза председатель доходчиво объяснил народу, что через три недели экскаватор сравняет их избышки и сараи с землей — в этом месте запланирован стадион и плавательный бассейн.

...Не успели сдать бутылки после новоселья, как в Сельце началась дизентерия. В течение трех дней заболело 60 человек. Тревожные сообщения об эпидемии дошли до Минздрава, до ЦК. Отговориться нематыми фруктами не удалось — фруктов в Сельце отродясь не бывало. И назначена была в Сельцо комиссия с участием всех, кто проектировал и строил новый город-спутник. В нашу контору тоже пришел телекс из Смольного с приказом явиться на место происшествия. Накануне предусмотрительный директор улетел в Казахстан, главный инженер слег с радикулитом, а начальник отдела даже вывихнул ногу. В члены комиссии записали меня.

И зимним лиловым утром, ставшим, как мы увидим, поворотным в моей судьбе, я отправилась в колхоз "Сельцо". Замызганный, проржавевший автобус притащился в Сельцо с часовым опозданием, и, когда я, отряхивая сапог мокрый снег, ввалилась в правление, там было пусто и тихо. Секретарша в валенках и позолоченных цыганских серьгах удивленно подняла ниточки выщипанных бровей и низким простуженным голосом сказала:

— Вы бы спали подольше. Они уже больше часа в ресторане заседают, скоро обедать будут.

В "Алых парусах" в тяжелых клубах папиросного дыма, за сверкающими полированными столами в виде буквы "Т" заседала комиссия. Сквозь стеклянные двери я разглядела бесчисленные бутылки нарзана, бутерброды с чем-то кораллово-красным и дымчато-черным, вазы с пунцовыми яблоками и тяжелыми бананами. Очередной оратор,

мне виден был его мясистый затылок, энергично жестикулировал, председатель комиссии ритмично качал головой. Все выглядело так торжественно и величественно, что я постеснялась войти, повернулась и побрела по Сельцу.

В самом центре поселка возвышалась серая кирпичная водонапорная башня, украшенная белыми гигантскими цифрами — 1963. Мне почему-то захотелось узнать, есть ли год постройки на пирамиде Хеопса... Вокруг башни громоздились кучи мусора, битого стекла и кирпича. Вдоль развороченной грузовиками дороги, погруженные в талый снег и вязкую глину, прихотливо извивались доски, служившие тротуаром. Рядом зияли незакопанные траншеи, в которых утопали в воде трубы первой в Сельце канализации.

Увязая в грязи, с трудом переставляя ноги, я шлепала вдоль траншей. Вскоре и дорога и траншея потеряли свои очертания — глубокие следы шин, как шрамы, избородили все вокруг. Не иначе, как двадцатитонный "БелАЗ" буксовал на русском бездорожье. Вот колея оборвалась — похоже, шофер дал задний ход и врезался гигантскими колесами в открытую траншею. Трубы были искорежены и завалены глиной. А вот и следы гусениц — наверно, беднягу-шофера выручал за полбанки колхозный тракторист. Из разбитых труб что-то сочило с хлюпаньем и шипеньем. Я подняла голову, и взгляд мой уперся в гордую башню — 1963.

И внезапно, как озарение, передо мной возникла стройная картина эпидемии. Из раздавленной канализационной трубы все, мягко выражаясь, нечистоты с дождем и снегом проникали в землю, в водоносный горизонт, уровень которого был в каких-нибудь двух метрах под землей, а оттуда башня — 1963 качала воду для мытья и питья. Живучий народ, странно, что еще никто не помер.

Я двинулась обратно в "Алые паруса". Заседание плавно переросло в товарищеский обед. Было шумно и дымно, и у меня были шансы проскочить незаметно. Музыкальная машина, глотая пятаки, исполняла американские блюзы. Обкомовская шишка, склонившись к рыженькой санитарной врачихе, растолковывала анекдот. Она робела, крутя на

вилке соленый огурец. Бойкая дама из буровиков, туго обтянутая в честь торжества золотым парчовым платьем, стучала черенком ножа по скатерти и хрипло вопрошала: "Какое он вообще имеет полное право? Нет, скажите, имеет он вообще полное право?.." На белоснежной скатерти темнели кучи обсосанных костей, переполненные пепельницы источали тяжелый чад, тут и там блестели порошковые водочные и коньячные бутылки. В конце стола я заметила знакомого инженера и пристроилась рядом. Передо мной тотчас же возник шницель.

— Ну что постановили? — шепотом спросила я.

— А черт их знает, — досадливо отмахнулся он, — все отверглись, виноватых нет. Теперь молоко проверять будут — на коров свалить сподручнее.

Обед подходил к концу. Члены комиссии, поднимаясь из-за стола, братски прощались с колхозным председателем. В гардеробе "Алых парусов" возникла веселая суতোлка — члены перепутали свои нерпы и ондатры.

На улицу высыпали разгоряченные и добродушные и, потоптавшись, потянулись было к своим, припорошенным снегом, щегольским "Волгам", внутри которых, нахлобучив на лоб шапки, дремали шоферы. Председатель, охваченный внезапным энтузиазмом, вдруг нежно обнял обкомовскую шишку.

— Товарищ Парфенов, Федор Васильевич! Пройдемте по участку, осмотрите наши достижения.

На лицах комиссии выразилось неодобрение, но товарищ Парфенов пророкотал:

— Ну, что ж, осмотрим, товарищи! Под конец решил подсластить пиллюлю, дорогой?

Глубоко засунув руки в карманы, молча проклиная дурака-энтузиаста, комиссия гуськом побрела по шатким мосткам за бодро шагающим председателем. Наконец, мы остановились перед стеклянным кубом, напоминающим миниатюрный Дворец Съездов.

— Дом быта, — гордо объявил председатель, — пустим в эксплуатацию во втором квартале.

Члены комиссии повосхищались размерами стекол, сквозь которые проглядывались десятки итальянских фендов.

— А вы, девушка, из какой организации будете? — вдруг заметил меня товарищ Парфенов.

— Из Ленгипроводхоза, от проектировщиков.

— Ну, а ваше высокое мнение, с чего тут люди болеют? — игриво продолжал он размягченным от колхозной водки голосом.

— Мне лично ясно — с чего, — угрюмо ответила я, и моя бестактность привлекла внимание остальных.

— Ну-ка, ну-ка, расскажите, — отечески улыбнулся Парфенов.

Члены комиссии, как по команде, широко осклабились, отдавая дань парфеновской демократичности.

— Лучше уж я покажу, — гонимая жаждой правды, я двинулась вперед.

— Огонь-девка, — одобрительно заметил Парфенов, и комиссия устремила за мной.

Через несколько минут все сгрудились вокруг траншеи.

— Правдоподобно, очень правдоподобно, — кивал Парфенов. — А анализ питьевой воды кто-нибудь делал?

Санитарная врачиха начала судорожно рыться в своем бауле.

— Завтра в 9 часов утра новые анализы должны быть у меня на столе, — сухо бросил Парфенов. — На сегодня все!

Через два дня комиссия докладывала Фролу Козлову о причинах эпидемии. За мной из обкома прислали бронированную "Чайку", и на глазах потрясенных сотрудников я плавно отчалила в Смольный.

Затем мне прибавили 30 рублей зарплаты и послали на всесоюзную конференцию строителей. Там, в перерыве между бесконечными, как китайская пытка, докладами, я столкнулась лицом к лицу с товарищем Парфеновым. Окруженный почтительной свитой, он рассматривал макет свиноводческой фермы. Заметив меня, Парфенов ласково улыбнулся и шагнул вперед.

— Как живем, красавица, как можем?

Он публично угостил меня шоколадом, и на следующий день в кулуарах Ленгипроводхоза обсуждалась моя близость к партийным кругам.

Меня назначили руководителем группы и повысили оклад еще на 20 рэ.

— Снимает пенки с говна, — шелестело за моей спиной.

Наступила весна. Солнце весело сверкало в лужах Апраксина Двора, на меня по-прежнему сыпались почести, "бал удачи" продолжался.

— Мы тут посоветовались с товарищами, — сказал мне однажды директор, — и решили послать вас учиться. "Целевиком". Поступайте в очную аспирантуру, защититесь и вернетесь к нам со степенью. Будут и у нас в Ленгипроводхозе свои ученые.

Все ли знают, что такое "целевик"? Поверьте, это надежная система выковывания научных кадров. Завод, колхоз или проектная шарага внезапно чувствуют, что им позарез нужен свой кандидат наук. Выбирается молодой кадр, прославившийся на поприще общественной работы, и посылается в аспирантуру. Поступает он вне конкурса и три года бьет баклуши за 100 рублей в месяц. Кафедра общими силами варганит ему научный труд, после чего он с бубнами и литаврами возвращается к себе и занимает почетный и высокий пост.

Так я попала в Университет.

Вскоре мой бывший директор уехал оказывать помощь слаборазвитой Сирии, а высокий покровитель, добрый гений — товарищ Парфенов перебрался в ЦК. Обо мне все забыли. Я осталась на кафедре и никогда больше не переступала порога Ленгипроводхоза.

Конечно, ни о какой диссертации не могло быть и речи — кафедра много лет не вела научной работы. Иван Петрович Пучков не обременял себя и аспирантов, и в наши редкие свидания мы делились впечатлениями о новинках театрального сезона. У меня даже не было своего стола, и я кочевала из "механички" в "мерзлотку", из учебной лаборатории в преподавательскую, выполняя мелкие поручения профессуры.

Три волшебных аспирантских года пролетели, как сон, и Иван Петрович исхлопотал для меня место научного сотрудника все с тем же окладом в 100 рублей. Наши отношения с ним были незыблемы и доброжелательны и напоминали дружбу Франции и Сан-Марино. Я не ждала от него помощи, он не ждал от меня подвоха. Так бы нам и жить-поживать. Однако судьба распорядилась иначе. От профессора Пучкова остался на кафедре лишь обтянутый черным крепом портрет да спасенный мной от Леонова старый учебник с кокетливой дарственной надписью: "Очаровательной Нине Яковлевне на добрую память от автора этой скучной книжки. Пучков".

Глава IV.

СОЗДАНИЕ НАУЧНОЙ ГРУППЫ

В первые месяцы своего царствования Леонову было не до науки. Поглощенный ремонтом, покупкой приборов, реконструкцией уборной, он носился по факультету, наводя мосты и укрепляя связи. Наконец, наши пути пересеклись. Леонов вызвал меня в кабинет, плотно закрыл дверь и деловито спросил:

— Сколько лет вы тут околачиваетесь, Нина Борисовна?

— Нина Яковлевна, — поправила я, — в апреле будет шесть.

— А каковы результаты? Имеете в виду защищать диссертацию?

— Хотелось бы, но я не собрала достаточно материала.

— И не соберете. А что вас, собственно, привлекает?

— Не... знаю... Минералогия глин и...

— Бред все это, — решительно перебил меня шеф. — Я начинаю новую тему. Тонкие структуры. Сейчас очень модно. Во всем мире, во всех науках. И я хочу привлечь вас. И еще двоих-троих. Молодых, головастых. Найдите людей, а ставки я выбью.

— Нам сидеть будет негде. На кафедре нет лишнего стола.

— А это не стол? — Леонов королевским жестом обвел свой кабинет.

Я недоверчиво оглядела каземат с единственным письменным столом.

— Да, да, будете сидеть здесь. — Шеф внезапно сорвался с места и исчез. Через минуту я услышала его вдохновенный голос в коридоре:

— Мы с Тamarой Яковлевной разворачиваем новую тему. Берем сотрудников. Сидеть будут в моем кабинете.

— Как можно? Что вы? — подобострастно загалдели вокруг. — У заведующего кафедрой должен быть отдельный кабинет.

— Ученый — не чиновник. Место его — в лаборатории, за экспериментом, — наставительно сказал Алексей Николаевич, и все пристыженно замолкли.

Я нашла людей для научной группы и тщетно пыталась познакомить их с шефом. Только через неделю мне удалось настигнуть Леонова. Он стремглав летел по университетскому двору и, остановленный мной, несколько секунд ошалело соображал — кто я и какое имею к нему отношение. Представленные мною сотрудники не вызвали в нем ни малейшего интереса. Это были — моя приятельница Вера Городецкая, болтавшаяся больше года без работы после рождения второго сына, и лаборант Алеша Бондарчук, добродушный мальчик с русыми лохмами и неисчерпаемым запасом армейских анекдотов. Я деликатно напомнила шефу об идее создания научной группы. Леонов сориентировался мгновенно.

— Товарищи меня простят, надеюсь, — сладчайше улыбнулся он, пожимая им руки. — Сейчас — ни секунды. Назначая наше первое заседание на завтра в девять утра. Обсудим, так сказать, проблему в целом. И договоримся сразу, Ирина Яковлевна, — не опаздывать. Ничто так не требует точности, как наука.

— А техника? — не удержался Алеша.

— И техника, — согласился шеф и растаял в недрах деканата.

Наутро ровно в 9 часов мы явились на кафедру и расселись вокруг стола в ожидании шефа. В полдень Алексей Николаевич позвонил из дома и сообщил, что, кажется, немного задерживается. Около четырех он, как самум, ворвался в кабинет и, буркнув "здрасьте!", не раздеваясь, начал рыться в своем столе.

— Где эта бумажка, черт побери? — Леонов раздраженно вытряхнул на пол содержимое ящичков. Мы бросились на колени подбирать листочки.

— Розовая, розовая такая, — приговаривал Леонов, ползая вместе с нами на четвереньках. Наконец, заветный листок был найден. Алексей Николаевич, тяжело дыша, поднялся на ноги и разразился таинственной речью:

— Вы представляете, Мария Яковлевна, анонс мне прислали только вчера, а срок подачи докладов, оказывается, был месяц назад. Так мне пришлось все утро строчить свой доклад. Кончил полчаса назад. Счастье, что у меня там связи. — Леонов поднял палец, и мы с почтением уставились в потолок. — Ну, я помчался в иностранный отдел, — спохватился он и ринулся из кабинета. Рабочий день подходил к концу. Новые сотрудники толпились вокруг, с тоской поглядывая на дверь. Кафедра опустела. Только в соседней лаборатории Рива Соломоновна с Сусанной Ивановной обсуждали последнюю сенсацию: студентка четвертого курса филфака родила коричневого сына.

Время от времени наша дверь слегка приоткрывалась, и в щель просовывалась птичья голова профессора Бузенко.

— Алексея Николаевича еще нет, ждем с минуты на минуту, — любезно привставал со стула Алеша Бондарчук.

Михаил Степанович недоверчиво осматривал стены, бросал быстрый взгляд под стол и беззвучно исчезал. Так он проделал пять раз кряду.

Наконец, весело напевая, появился Алексей Николаевич. Наверно, существование новой научной группы опять вылетело у него из головы, потому что он с недоумением воззрился на нас. Я деликатно напомнила, что мы в девять часов собрались на первое заседание. Реакция шефа была молниеносной.

— Вот и прекрасно, работа прежде всего, — воскликнул он, плюхаясь за стол в пальто и шапке. Снежинки, тая, струйками текли по его лицу, — у всех есть бумага? Записывайте.

Мы схватились за авторучки.

— Дорогие товарищи, — с привычным пафосом начал Леонов. — Прежде всего — материалы, записки, отчеты не оставлять на столе после работы. Из кабинета не отлучаться никогда, обедать по очереди, стол должен запираиться, ключи уносить с собой. На вопрос: "Чем занимаетесь?" — ничего не отвечать.

— Это от кого ж такие тайны? — спросил лаборант Алеша.

— Здесь воруют все, — твердо ответил шеф, — а в особенности Бузенко.

— Профессор Бузенко? Михаил Степанович? — изумился Алеша.

— Профессор, профессор, — раздраженно передразнил его Леонов. — Таких профессоров сейчас, как собак нерезаных... он двух слов связать не может.

— А последняя монография? Она же премию Обручева получила? — не унимался Бондарчук.

— Грош цена этой монографии вместе с этой премией! — И по тому, как в недобром прищуре спрятались леоновские глазки, мы поняли, что он не на шутку разозлился. — И, если вам, Бондарчук, так нравится профессор Бузенко, — ска-тертью дорога...

— Что вы, Алексей Николаевич! — перепугался Алеша. — Да он мне на дух не нужен. И книжку его я не читал даже.

— И правильно сделали, — смягчился шеф. — Нечего голову всякой чепухой забивать. Голова одна, а монографии пишут все, кому не лень. Внезапно дверь тихо приоткрылась, и на пороге, как тать в ночи, возник профессор Бузенко.

— Михаил Степанович! Легко на помине, — просиял Леонов. — Мы только что о вас говорили. — Шеф выскочил из-за стола, протягивая руки. — Заходите, дорогой, присаживайтесь. Мы тут обсуждали одну научную проблемку. И я говорю товарищам, — нам без консультации Михал Степановича ну, решительно, не обойтись.

— Во дает! — выдохнул за моей спиной лаборант Алеша. Однако Бузенко даже не улыбнулся.

— У меня срочное дело, — угрюмо буркнул он. — И конфиденциальное.

Лицо шефа изобразило глубокое сожаление по поводу нерешенной проблемки.

— Что ж, товарищи, — вздохнул он, — погуляйте, попейте чайку. А то заработались, поесть некогда. Как бы в профсоюз на меня не пожаловались, — игриво потрепал он меня по плечу.

Возвращаясь из буфета, мы встретили наших профессоров. Ожесточенно размахивая руками, они рысью бежали по университетскому двору, оба без пальто, но в одинаковых каракулевых шапках с козырьком, — Бузенко в черной, Леонов в серой, — и по этому цветовому различию ясно было, кто из них настоящий начальник. Они трусили в сторону ректората, бодая друг друга шапками и что-то беспрерывно бубня, скрылись в морозной пыли. Глядя им вслед, мы поняли, что наш творческий поиск откладывается.

На кафедре нас встретили возбужденные Рива и Сузи.

— Наш с вашим вдребезги переругались, даже разлаялись и помчались жаловаться друг на друга в ректорат. Ваш скрыл приглашение на конгресс. А Бузенко говорит, — обязан был повесить на стенку. А Леонов говорит, что пригласили персонально его. А Мишка (Михаил Степанович) пристал, как банный лист: "Покажите мне анонс". А ваш прячет, не показывает. Чуть не подрались.

— А конгресс-то какой? — спросили мы хором.

— Какой-какой! Всемирный! По эрозии почв. В Монреале!

Глава V.

ИКАРИЙСКИЕ ИГРЫ

Прошла зима. Океанские волны, поднятые профессором Леоновым, улеглись. Алексей Николаевич так и не нашел

времени для научной проблемы. Он появлялся на кафедре три раза в неделю после обеда. Один раз, надо отдать ему должное, — читал лекцию, два других раза — заседал в верхах. Состоя членом двенадцати комиссий, пять из которых находились в Москве, он, по его словам, "разрывался на куски". Поэтому тонкие структуры оставались загадочным словосочетанием, а новые приборы все не оживали, а лишь беззвучно и таинственно мерцали в сумраке лабораторий.

Моя диссертация по-прежнему не двигалась, но я не огорчалась. Университетская синекура давно растлила мою душу. Я только старалась не раздражать шефа и появлялась на кафедре в те же часы, что и он.

Юный, но практичный Бондарчук, решил, что если есть свободное время, — должны быть свободные деньги. Он устроился в ночную охрану на обувную фабрику, а, придя на кафедру, залезал в спальный мешок и заваливался спать в морозильной камере "мерзлотки". И только Вера Городецкая, осколок народоволок, искренне недоумевала:

— Я ведь зарплату получаю, надо же все-таки работать.

— Ты называешь это зарплатой? — высокомерно спрашивал Эдик Куров. — Нам с котом этой зарплаты на три вечера хватает. Правда, Никсон? Вот и приходится ноги бить, по книгам ударять.

Кот жмурился, прикрывая дивные синие глаза.

— Как ты не понимаешь, Эдька, — настаивала Вера, — я еду с Гражданки час туда, час обратно и не получаю никакого морального удовлетворения.

— Потому что не там его ищешь. Тоже мне — чеховская героиня. Не майся, старуха, воспитывай сына, может, хоть в следующем поколении человек вырастет.

Но однажды грянул гром. Шеф впервые появился на кафедре в десять часов утра. В этот день он доставал медицинские справки, все для того же Монреальского конгресса, и сдавал анализы, что, как известно, полагается делать утром, натошак. Потолкавшись в очередях, голодный и злой, Алексей Николаевич вдруг вспомнил о научной проблеме. В этот ранний час он застал на кафедре только Риву Соломоновну,

задающую корм рыбкам, и Григория Йовича, привыкшего к некоторой дисциплине за восемнадцать лет жизни в воркутинском спецлагере.

— Где люди? — недоуменно спросил Леонов, оглушенный кафедральной тишиной. — Куда все подевались? Где моя группа?

Перепуганная насмерть Рива что-то мычала, прижимая к груди банку с кормом.

— Хорошенькое дельце! — вдруг всполошился шеф. — Это когда же все являются на работу? А если нагрянет отдел кадров? Когда мы официально начинаем, Рива Соломоновна?

— В восемь тридцать, — хрипло выдавила Рива.

Леоновская лысина побагровела.

— Ни-чего себе, — протянул шеф, — разогнать вас всех надо к чертовой матери!

Он схватил стул и, поставив его в коридоре рядом с урной и шваброй, уселся дожидаться сотрудников.

Первым появился Женя Лукьянов и, наткнувшись на шефа, вытянулся перед ним по стойке "смирно".

— Что это вы явились ни свет, ни заря, Евгений Васильевич? — ядовито спросил Леонов.

— Жена в командировке, сын в температуре, потолок протекает, — отчеканил Лукьянов — он тоже был не лыком шит.

Леонов махнул рукой, и Женя, печатая шаг, проследовал в "механичку".

Затем всплыла Сусанна Ивановна. Рыжая лисья шапка, венчавшая высокую прическу, настолько заворожила Леонова, что он впал в оцепенение, и Сузи, поклонившись, плавно, но быстро уплыла в лабораторию. Через несколько минут с шумом и хохотом ввалился Эдик с котом на плече и в обществе двух абсолютно посторонних молодых людей остаповендеровской наружности. Леонов окинул их таким враждебным взглядом, что гости совершенно смешались, а у одного даже вывалился из рук толстенный том "Русская мебель". Однако Эдик сразу же нашелся.

— Здравсьте, Алексей Николаевич, — приветливо улыбнулся он. — Вот привел коллег из Горного, мечтают ознакомиться с нашими приборами.

— Двенадцатый час, товарищ Куров, — ледяным голосом произнес шеф.

— Ишь ты, в какую рань меня принесло, — удивился Эдик. — Я сегодня, видите ли, во вторую смену, с трех то есть, — доверительно пояснил он.

— С каких это пор у нас вторая смена? — опешил шеф. Но Эдик уже скрылся в "мерзлотке". Следом, втянув головы в плечи, прошмыгнули "коллеги из Горного".

В дверях появилась Оля Коровкина, как всегда, нагруженная дефицитом, предназначенным для обмена или продажи на соседних кафедрах. На сей раз это были сапоги. Дочь парторга не могла служить объектом леоновского гнева и потому с веселой развязностью бросила с порога:

— Доброе утречко!

Леонов деловито оценил взглядом обувные коробки. — Где?

— В Гостином, на Перинной, — охотно сообщила Оля, уже развязывая зубами один из пакетов, дабы продемонстрировать улов.

— Потом, потом, — спохватился Алексей Николаевич. — А тридцать восьмой есть?

— С утра все размеры были.

Леонов сорвался со стула и ринулся к телефону.

— Танечка, — зашептал он, — на Перинной выбросили сапоги. Вроде бы итальянские. Про пряжку не знаю... Наверное, черные... Нет, деточка, не видел.

В трубке что-то оглушительно заверещало. Леонов молчал, выслушивая упреки в нерасторопности, а потом с виноватым видом повесил трубку. Однако возвращаться на наблюдательный пост не имело никакого смысла: близился обеденный перерыв.

На следующий день Алексей Николаевич решает прибегнуть к новому методу: управлять кафедрой дистанционно. Его первый звонок раздается в восемь сорок пять, и Рива с исправностью автомата снимает трубку.

— Здравсьте, Рива Соломоновна, — раздается знакомый голос с Петроградской Стороны.

— Доброе утро, Алексей Николаевич, — пионерским голосом выкрикивает Рива.

— Что, Нина Яковлевна близко?

— Да, где-то здесь, сейчас взгляну... — Рива несколько секунд топчется у телефона. — Наверное, в библиотеку вышла, пальто висит. Она вам срочно нужна?

— Просто дозарезу, — разочарованно говорит шеф. — Как объявится, пусть немедленно звякнет.

Рива поспешно звонит мне домой.

— Нина, вас шеф разыскивает. Похоже, — не в духе. Голос мрачный. Не злите его, позвоните ему сейчас же.

Легко сказать — сейчас же. Звонок из дома таит в себе опасность. Великий стратег, проверив меня, позовет по очереди к телефону всех сотрудников. А где я их возьму? Как минимум, мне надо очутиться на кафедре. Я хватаю шубу, вылетаю на улицу, ловлю такси и через десять минут привычно спотыкаюсь о швабру.

В коридоре уже надывается проклятый телефон. Рива ошалело смотрит на него, не смея поднять трубку. Я делаю дирижерский жест.

— Але, — говорит Рива, ликуя. — Как же, как же, давно здесь.

— Доброе утро, Алексей Николаевич. Что-нибудь случилось? — позволяю я себе металл в голосе.

— Да, Нина Яковлевна, неотложное дело, — сурово говорит Леонов. — Когда начинается Гагринское совещание?

У нашего шефа воображение дятла — не мог придумать что-нибудь поубедительней. Сам же вчера сказал мне, что Гагринское совещание начинается 20 мая. Мы еще похвалили организаторов за удачный выбор сезона. Теперешний его звонок — грубое выманивание меня из норы.

— Кажется, весной, — с готовностью отвечаю я, соблюдая правила игры. — Сейчас уточню... да, да — 20 мая. — Надо срочно отвлечь его внимание от других сотрудников, и я довольно ловко бросаю наживку. — Кстати, нигде не могу найти состав оргкомитета. Вы, случайно, не прихватили с собой?

Но шеф не клюет.

— Н-не думаю. Посмотрите в столе. Да... позовите-ка мне Бондарчука на минутку.

Я показываю трубке кулак и громко кричу пустым стенам: — Леша, тебя шеф спрашивает! — затем с легким сожалением в телефон. — Алексей Николаевич, он вам позвонит через десять минут, он под прессом.

— Где, где? — с неподдельным интересом спрашивает шеф.

— У него образец под прессом.

— А Куров? — настырничает шеф.

— В плановом.

— А Городецкая?

— В бухгалтерии.

— А Белоусов?

Темп его вопросов ускоряется.

— В переплетной.

Рива стоит рядом, схватившись за голову, как девчонка, впервые увидевшая бой быков. Шеф устает первым.

— А есть на кафедре хоть кто-нибудь?

— Что значит — хоть кто-нибудь? — искренне обижаюсь я.
— Все на кафедре.

На мое счастье, с порога доносится чертыханье, и, споткнувшись о швабру, на кафедру вваливается Бондарчук. Я отчаянно машу ему рукой, он вырывает трубку и бодро выпаливает:

— Приветствую вас, Алексей Николаевич!

Сегодня сражение выиграно.

Глава VI.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК

Летом жизнь на факультете замирает. Студенты разъезжаются на практику, утомленная долгой зимой профессура скрывается на своих дачах. Тополиный пух кружится в воздухе, белым ковром устилает университетский двор. По нему бродят неискушенные юнцы, с почтением глядя на будущую альма-матер.

— Снег! Впервые вижу снег, — радостно кричит негр из Того, лоя розовыми ладонями гигантские пушинки.

Наша кафедра пустует. Сотрудники приезжают на работу с купальниками и, потоптавшись часок в коридоре, смываются загорать на пляж Петропавловской крепости. Остается лишь какой-нибудь заложник отвечать на телефонные звонки.

Сегодня — это я. Делать совершенно нечего, и я, гонимая скукой, слоняюсь по лабораториям, заглядываю в "электронку". В ней темно и душно. Тонкий солнечный луч, проникнув в щель между черными портьерами, споткнулся обо что-то и образовал зигзаг. Новый линолеум издает тяжелый запах формалина.

Я включаю рубильник. Со странным звуком "шшш-уак-уак" лаборатория освещается мощными люминесцентными лампами. В центре красуется электронный микроскоп — чудо нашего века. Его устремленная вверх серебристая колонна напоминает готовую к запуску ракету. Гигантский куб вакуумной установки кажется рядом с ним приземистым и тяжелым. Бесчисленные провода тянутся к электрическим системам, разноцветные тумблеры и кнопки молча отдают по-английски приказы: "офф", "он", "лейт". На полу валяются цветные буклеты и белый халат, одолженный у кого-то полгода назад для съемок микробиологического фильма "Люминесценция".

Я поднимаю с пола инструкции — серое облако пыли медленно оседает на платье. После описания прибора указана его стоимость — 80 тысяч долларов. Дальше объясняется, что микроскоп может работать в три смены, то есть двадцать четыре часа в сутки. Но раз в неделю его надо чистить. И, хотя день простоя обходится в 400 долларов, это необходимая мера для успешной и долговечной работы прибора.

Что-то напоминающее совесть шевельнулось в моей душе. Мертвый экран, как пустая глазница, не сводит с меня слепого укоризненного взгляда. Я прижимаюсь лбом к прохладной серебристой колонне. Господи, какой стыд! На кафедре тихо, как в морге. Я запираю "электронку" и, точно боясь опоздать, почти бегом устремляюсь в библиотеку.

Через месяц, прочитав несколько книг по электронной микроскопии, я научилась включать прибор. Самым трудным оказалось приготовление образцов. Для эксперимента требовались препараты, выполненные с ювелирной точностью и чистотой, и каждый отнимал пять-шесть дней. Часто, после недели кропотливой возни, я убеждалась, что образец ни к черту не годится. Я выбрасывала его в корзину и начинала все сначала. После долгих и, казалось, безнадежных усилий, мне удалось впервые вставить тончайшую пластинку в микроскоп. Я включила прибор. Раздалось легкое гуденье, вспыхнуло табло, и туманные загадочные картины поплыли на зеленом дрожащем экране. Сердце колотилось, я первый раз в жизни испытала сладкое чувство победы.

— Ты не радуйся, змея, — охладил мой пыл заглянувший в "электронку" Эдик Куров. — Ты лучше объясни людям, что тут на экране плавает.

— А иди ты к черту, — огрызнулась я, — не твоего ума дело.

— Похоже, и не твоего, — не унимался Эдик, — оставь свои тщетные научные потуги и пошли в кино.

Но однажды утром Леонов ворвался в "электронку".

— Ну, как успехи? Когда начнем работать?

Я высыпала на стол полсотни фотографий.

— Прекрасно! Вандерфул! — восхитился Алексей Николаевич, с наслаждением разглядывая черные пятна и кляксы на сером мутноватом фоне, — немедленно садимся писать статью. Симпозиум не за горами.

— Какая статья! Какой симпозиум!? Я же понятия не имею, что это значит?.. Как расшифровать?..

— Но проблем. Интерпретация — дело творческое, — настаивательно сказал Леонов, — записывайте. — И, отодвинув рукой снимки, начал диктовать: — При увеличении в 20 тысяч раз отчетливо видны агрегированные участки, а также монокристаллы, скопившиеся в правом верхнем углу снимка. Поверхность их хлопьевидная, что ясно указывает на преобладание мортмориллонита в составе глинистой фракции.

— Алексей Николаевич, — взмолилась я, — откуда вы это взяли? А если все эти черные пятна — просто пыль и грязь? Я еще не умею готовить образцы для опыта.

— Пыль и грязь?.. — задумчиво переспросил Леонов, — не знаю. Но вообще... не исключено и даже возможно. Впрочем, это тоже надо доказать. Пусть те, кто сомневается в нашей трактовке, сами сделают электронные микрофотографии. Ну... поехали дальше, — нетерпеливо сказал он, снова принимаясь диктовать.

Через два месяца наша первая совместная статья появилась в крупнейшем журнале Академии Наук, а вскоре была перепечатана несколькими иностранными изданиями. Мы получили приглашение прочесть лекции по тонким структурам глин в Киеве и в Новосибирске. Наша слава росла.

Приезжающих на кафедру коллег профессор Леонов первым делом тащил в "электронку". Приоткрыв слегка дверь, он просовывал голову в щель и почтительным шепотом спрашивал:

— Разрешите на секундочку, Нина Яковлевна. Если можно, покажите нам ваше детище.

В кромешной тьме лаборатории мерное жужжание микроскопа да его горящий циклопий глаз производили на провинциалов ошеломляющее впечатление.

— Неудобно, товарищ работает, не будем мешать, — смущенно шептались они на пороге.

Если у меня плохое настроение, я просто не отвечаю, и шеф с виноватым видом объясняет:

— Не вовремя мы — сейчас очень ответственный момент. Вибрация от шагов может сильно исказить картину. Заглянем попозже.

Но, если есть желание развлечься, я нажимаю тумблер light и резко поворачиваюсь на вращающемся табурете. В лаборатории вспыхивает нестерпимо яркий свет, гости от неожиданности жмурятся. Я снимаю очки и усталым жестом Марлона Брандо прикасаюсь к переносице. Завороженные коллеги на могут отвести глаз от серебристого чуда.

— Проходите, товарищи, — ласково говорю я, — присаживайтесь. — В моем голосе явственно слышатся леоновские интонации. — Что вас больше интересует — принцип работы прибора или методика препарирования?

Коллеги почтительно мычат, а я сокрушенно обращаюсь к Леонову:

— Капризничает сегодня наша керосинка. Разрешающая способность не больше 50 ангстрем.

Шеф смотрит на меня с неподдельным восхищением и прощает мне в эти минуты все дисциплинарные уловки. С легкой фамильярностью он кладет мне руку на плечо.

— Наша Нина Яковлевна — королева электронной микроскопии.

Поздней осенью, захватив пачку таинственных микрофотографий, профессор Леонов улетел на очередной симпозиум в Канберру.

Глава VII.

НОВОГОДНИЙ БАЛ

Декабрь — самый нервный месяц. Мы должны отчитываться за год напряженной работы. Для меня на всю жизнь останется загадкой, как из ничего возникают таблицы, графики, чертежи и страницы убористого текста. Мы сидим до позднего вечера, а иногда и ночи напролет, глушим цистерны кофе и под руководством профессоров превращаем жалкие результаты убогой умственной работы в толстые тома научных отчетов. В эти дни мы чувствуем себя сплоченной монолитной семьей. 30 декабря последний отчет с золотыми буквами: "Ленинградский Государственный Университет им. Жданова" покидает стены кафедры. Мы облегченно вздыхаем и расправляем плечи.

На кафедре стоит чудный запах хвои — в углах темнеют разнокалиберные елки, — сотрудники добыли их в жестоком бою, штурмуя "левый" грузовик, на десять минут въехав-

ший во двор Университета. Без конца трезвонит телефон — это вездесущая Оля Коровкина информирует нас, в каком из университетских буфетов выбросили дефицит.

— С истфака я, — раздается в трубке ее свистящий шепот, — тут майонез и апельсины. Пусть кто-нибудь меня подменит, а я сметаюсь в НИФИ (научно—исследовательский физический институт).

Алеша Бондарчук вылетает на смену, а еще через пятнадцать минут — звонок: в НИФИ — ни фиги!

— Немедленно шлите людей в Земную кору — сервелат и шоколадные наборы!

В Земную кору несется Вера Городецкая, а новый звонок извещает, что на филфаке — сайра.

— Прямо Бойканур какой-то, — лениво потягиваясь, Слава Белоусов выползает из "мерзлотки". — Родные соколы разлетелись в необъятные просторы космоса.

— Можно подумать, что ты уже всем отоварился, — огрызаюсь я.

— Даже судаками, деточка, — кивает Белоусов. — Пока тестя не посадили, Октябрьский райпищеторг в моем распоряжении. Так что в знак особой любви могу преподнести тебе свиные ноги.

К вечеру мы опять в сборе и, возбужденные богатым уловом, решаем экспромтом устроить Новогодний бал. Эдик с шапкой обходит коллег — с мужчин по два рэ, с дам — по рублю.

— Гранд проблем с профессурой, — говорит он. — Не пригласим — обидятся, пригласим — запретят.

После октябрьских торжеств, когда на кафедре геофизики пьяные студенты высадили стекла и вдребезги разбили какой-то излучатель, ректор издал приказ, запрещающий всякие выпивоны и гулянки на рабочих местах.

— Запретить Леонов не посмеет, — размышляет Алеша, — народа побоится. Но сам смоеется. Да и все они выпивать с нами откажутся: у Бузенко — давление, у Миронова — внуки и елки. А студентов надо всяко с кафедры вытурить — нечего им тут околачиваться.

За выпивкой посланы Женя Лукьянов и Григорий Йович, и к их возвращению на кафедре, уже очищенной от профессуры и студенчества, накрыт ватманом стол. Рива с Сусанной домазывают бутерброды, а мы с Верой моем ежеиком лабораторные стаканы.

Для создания "атмосферы" Эдик включает дефектометр металлов "Уран". Десятки мигающих разноцветных лампочек неверными бликами освещают наши лица.

— Пригодился-таки сундук, — с удовольствием говорит Эдик, ткнув бок "Урана" носком шведского ботинка.

После первых новогодних тостов кто-то командует:

— Давай, Ольга, политинформацию.

Как я уже упоминала, Олин отец — Андрей Андреевич Коровкин — бессменный парторг нашего факультета, поэтому новости факультетской кухни мы узнаем из первых рук.

— Ничего особенного, — начинает Оля, — будничные дразги. Бузенко пробует копать под Леонова. Забыть не может, как тот обошел его с Монреалем и Канберрой.

— Как же! Монреаль ему нужен, — с ненавистью перебивает Сузи. — Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

— Да, но шеф не дремлет, — продолжает Оля, — предложил назначить комиссию на бузенковские лекции. Спросил студентов, как бы невзначай, довольны ли они Мишкой. Те разгонились, раскудахтались — невыносимо, мол, — тоска собачья. Тут шеф их и подловил, — напишите коллективную жалобу в деканат, говорит, раз у вас есть претензии. А ребята ввязываться не хотят — боятся. Подождут, говорят, сначала, кто кому глотку перегрызет.

— Ох уж эта война титанов, — усмехнулся Белоусов, — но против шефа Бузенко слабак.

— Да, ребята, новость! — вспоминает Ольга. — Наш Мионов докторскую закончил. Интересно, пустит его Леонов в доктора?

— Держи карман шире, — Эдик энергично трясет головой. — На кой ему хрен на кафедре третий профессор. Да он задушит нашу глухую тетерю, как цыпленка.

— Чего вы злобничаете, — мягко говорит Вера Городецкая, — Мионов вовсе не глухой, склероз у него от старости, и он просто не понимает ничего.

— У него с детства склероз или врожденное слабоумие, — упорствует Эдик, — необходимое качество для профессора.

— Конечно, если бы Мионов с Бузенко объединились, они бы скovyрнули Леонова, — говорит Женя Лукьянов, но разве ума на это хватит?

— Факт, не хватит... — Оля пудрит нос и, оскалившись, несколько секунд любуется своими зубами. — Мнение парткома таково, что Леонов их обоих приструнит и уделает.

— Да ну их к фигам! — Алеша Бондарчук включает магнитофон. — Танцы, товарищи!

Он приглашает Олю, Женя Лукьянов подходит к Вере Городецкой, Сусанна кладет руки на Славины плечи. Я с удивлением замечаю, как они, тесно прижавшись друг к другу, воркуют в углу.

Уже поздно. Изредка звонит телефон — это домочадцы обеспокоены нашим отсутствием. Разомлевшие от музыки и водки, мы чувствуем друг к другу доверие и нежность. Даже молчаливый Йович, рассеянно стряхивая пепел себе на колени, рассказывает что-то Риве Соломоновне. Рива оживленно улыбается, машинально складывая фантик от "Белочки". В мерцающем свете "урановых" лампочек ее плоское лицо кажется юным и миловидным. Расходиться не хочется.

— Давай-ка, Славка, — вдруг говорит Эдик, — почитай нам лучше что-нибудь.

— Да нет, ребята. Ничего готового с собой нет, — отнекивается Слава.

— Только не ври. Ты год уже создаешь свой нетленный шедевр. Мы с Ольгой прямо изнываем от любопытства.

— Почитай, Слава, правда... — раздается вокруг, — должны же быть у тебя, если не читатели, то хоть слушатели.

Белоусов еще немного сопротивляется, потом залпом опрокидывает стакан вина и уходит в "мерзлотку". Возвращается он с толстой папкой.

— Я прочту вам отрывок из повести, — говорит он, — называется она: "Всяк сюда входящий"...

Слава кончил. В коридоре надрылся телефон. Алеша, запустив пальцы в светлые вихры, раскачивался на табуретке, по Вериным щекам протянулись дорожки размазанной туши. Внезапно Йович резко встал, опрокинув стул, и подошел к окну. Все зашевелились. Женя, судорожно схватив бутылку, смахнул со стола стакан. Он разлетелся вдребезги.

— Нет, — сказала Оля, — нет, это невозможно. Такого не может быть.

Слава молчал. Я подошла к стоящему спиной Йовичу и попросила сигарету. Прикуривая из его ладоней, я впервые заметила его изуродованные, жесткие, испещренные морщинами руки.

— Какой же вы, Слава, непуганый, — медленно сказал Григорий Йович.

— А что? Прошли и канули в вечность времена... — развязно начал Эдик, но, споткнувшись о тоскливый взгляд Йовичевых белесых глаз, смешался и замолчал.

Внезапно все заторопились по домам.

— Откуда, Слава, вы все это знаете? — обернулась в дверях Рива Соломоновна.

— Мой отец был начальником лагеря, — ровным голосом ответил Белоусов. — Я вырос там.

(Окончание в следующем номере)

В издании Французского Национального Института славяноведения (Париж) вышла книга:

Ефим ЭТКИНД

МАТЕРИЯ СТИХА

Оглавление

Глава I. Предмет поэзии.

Глава II. Поэзия как система конфликтов.

Глава III. Слово и текст.

Глава IV. Звук и смысл.

Глава V. От словесной имитации к симфонизму (принципы музыкальной композиции в поэзии).

В монографии Е. Эткинда читатель найдет разборы стихотворений и поэм следующих авторов:

Херасков, Ломоносов, Державин, Жуковский, Баратынский, Батюшков, Крылов, Дельвиг, Рылеев, Бестужев (Марлинский), Пушкин, Вяземский, Языков, Давыдов, Полежаев, Лермонтов, Тютчев, Фет, Некрасов, Минаев, Бальмонт, Блок, Брюсов, Андрей Белый, Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Хлебников, Маяковский, Цветаева, Пастернак, Асеев, Заболоцкий, Тихонов, Бродский.

502 стр., цена 70 франц. франков (\$ 14)

Заказы и чеки направлять по адресу:

Institut national d'etudes slaves.

9 bis, rue Michelet, Paris Y1 1^{er}ne, France



Леонид ГИРШОВИЧ

ИШАЯГУ

В воскресенье, единственный раз в неделю, когда я могу поспать, я непременно просыпаюсь ни свет ни заря и мучительно пытаюсь затем вздремнуть еще немного: так маюсь я в постели до девяти и, перед тем как, наконец, решаюсь встать, вдруг забываюсь тяжелым сном часа на два. Все, после этого голова трещит и расхаживаюсь только к вечеру, да и то, если куда-нибудь приглашен или заранее купил билет в "Кинематограф". В этом случае предвкушение помогает превозмочь и головную боль, и общую подавленность, и я даже в ожидании вечера сажусь пописать, чего со мной, как правило, в выходные дни не случается, а только, как ни странно, во дни, когда я больше всего бываю занят в школе. С этим уж ничего не поделаешь, вдохновение ко мне является в самые неподходящие часы. Вчера вечером, возвратившись с работы, до поздней ночи сидел и писал рассказ, который назову "Ишаягу". И не исключено, что как раз сегодняшнее воскресенье я также посвятил бы этому занятию, потому как, едва проснувшись, жадно потянулся за исписанными листами,

и день не был бы убит (хотя это означает, что я бы до вечера не вставал с постели, ну разве что только перед сном, чтобы немного проветриться и пострелять по сторонам усталыми и счастливыми глазами). Все это могло произойти и, вероятно, произошло бы, если бы не телеграмма. Ее доставили, когда вся квартира еще спала. Тот, кому она адресовалась, сам побежал открывать дверь, пытаюсь застегнуть голубую в белую полоску в дырах пижаму на несуществующие пуговицы. Ликующий миг прочтения. "Приезжаю воскресенье Москвы поезд 32 вагон 5 — Феликс". Он всегда так оглушает. И, конечно же, не позавтракав, лишь пощипав невычищенной со вчерашнего утра бритвой скулы (как следы спешки — несколько толстых запятых у кадыка) да обмахнув туфли, я уже мчался на вокзал. От вокзала и до вокзала ("от края и до края" перефразируя слова известной песни), от Витебского, возле которого на Подольской я живу, и до Московского, предстояло мне проделать хоть и не длинный, но бездарно-тягучий, сплошь из одних трамвайных стрелок состоящий путь. На остановке, покуда длилось ожидание, я заполнял табачным дымом подверженную натошак любым прикусам полость рта (чего никогда обыкновенно себе не позволял) и раздражался при этом медлительностью кондукторов, которым мысленно давал в зубы, страшно, без всякой жалости к их детям, да еще раздражался видом уже имевшегося в наличии вокзала, но не того.

В последний раз я видел Феликса полгода назад, и появился он, мало сказать, внезапно — появился самым феерическим образом. Я проводил свой отпуск у дедушки с бабушкой в Днепропетровске: пил Днепр, как некогда пили глаза любимой, отдавался безмятежному золоту лета, словно сам — любимая на песке... упивался. По вечерам мои дорогие старички, чаевничая на своем столетнем балконе, воссоздавали картины невоссоздаваемые. Иногда томик Гейне. И вдруг, так же, как сейчас, только поздно вечером, — телеграмма: "Буду завтра ждите — Феликс". Ни когда, ни откуда — это было так в духе Феликса. Старики заметались по комнате и метались, пока, наконец, не вырвались из нее, словно из клетки: ба-

бушка — на богатую ароматами коммунальную кухню, дабы напоить ее еще одним — с корицей, с изюмом или уж Бог знает с чем — бабушкины пироги! — дед — на лестницу и — по всем своим знакомым, не выпуская из рук, вместо кожи обтянутых блестящей старческой пленкой, телеграммы. Приезжает, приезжает! Ну как же!

Феликс — это мой брат! Но здесь существует такая оговорка, целая оговорка, без которой не имеет смысла распространяться на эту тему. У каждого из нас своя пара родителей, разные отчества и, уж, конечно же, разные фамилии. И сверх всего, как бы подобием перегнутой надвое крыши, которая, если только она не "над головой", — всего лишь незамысловатая деталь строения, является то, что он происходит от русской матери и русского отца, тогда как я — кругом еврейский сын. Отец Феликса — журналист, поднявшийся по служебной лестнице аж до самой шапки, на которой взамен кокарды красуются ордена Ленина и жирными буквами набрано "Правда". Мать, в прошлом заштатная певичка перед малодостойной аудиторией (Кронштадт, матросня), была писаной красавицей: грудь бела, сама румяна, осанка, плечи, разворот, как выражение великоугарного осознания всей мощи державы своей. Возможно, это ее красы наложили свое вето на черты, которые Феликс перенял у некоего устроителя концертов и которые меня, например, превратили в заурядного городского еврея — в стужу нос не умещается за высокими стенами поднятого воротника и вечно краснеет, и капельничает, и вообще... А вот Феликс был курнос, сразу радостное лицо, словно меж бледных, аристократических щек помещалась аллегория покорения космоса в образе юноши и ракеты, взмывающей прямо с его ладони. Подобные восторги излучали и серые глаза под черными дугами бровей. Все же остальное, если не считать жестко раздвоенного подбородка, было таким, как и у меня. И мелочей этих, включая черные локоны, брови, лучики от губ и глаз, даже самый разрез глаз и, наконец, натяжение кожи на лбу, имелось столько, что между нами троими (я включаю сюда также администратора областной филармонии) возникало заметное

сходство. И так, мой отец был администратором, а мать... но это уже неважно. Требование о неприкосновенности родительского алькова мною соблюдается с такой неукоснительностью и так мне понятно, что даже теперь, когда он обветшал и лоно иссохло, а штукатурка обсыпала пол и самое ложе, я не смею приблизиться к нему. Лишь издали посвечу на покрывало, хранящее воспоминание о тепле и молодости того поколения. Между мною и Феликсом разница в возрасте равна двум годам и двум месяцам, Феликс старше. Когда я родился, отец уже был женат на матери, но вот предшествовало этой женитьбе появление журналиста, блиннолицего, стопроцентного, плененного столь, что готового на все, даже с младенцем, или наоборот — сказать не желаю. Дабы сухими фактами не извратить истинный ход той далекой перекрестной дуэли сердец. И скорей даже замечу, что сложность ситуации, предшествовавшей моему рождению, исключала всякие поползновения к кухонной брани в той или иной форме.

Когда Феликсу исполнился год, его отец получил Назначение, при мысли у простых смертных о котором..., и они уехали. Однако вскоре Феликс вернулся в сопровождении какой-то тети и поселился в городе Днепропетровске у моих будущих, ибо я все еще спал на востоке, бабушки и дедушки. У них он прожил лет пять, до поступления в школу. Я, гостивший в летние месяцы там же, смутно помню Адониса в штанишках на помочах, пяти-, шести-, семилетнего, в котором мои дедушка с бабушкой души не чаяли. Если верить им, артистическая натура Феликса дала знать себя очень рано, и с пяти лет его начали обучать игре на скрипке у местной знаменитости Хаймовича. Затем было решено отправить его в ленинградскую музыкальную школу, при которой имелся интернат для иногородних детей. Ныне слава этого заведения померкла, но тогда, окруженное ореолом имен своих создателей, таких, как Глазунов и Полякин, Загурский и Штример, Сегал и Ляховицкая, а за ними виднелись две величественные тени — Ауэр и Римский-Корсаков, оно сияло на сумрачном фоне страны. Надо полагать, что семилетнему Феликсу при поступлении не понадобились его громадные

связи, и их приберегли для меня, когда пришел мой черед. Иначе трудно объяснить мое зачисление туда же, да еще по классу фортепиано, два года спустя. Сейчас, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что счастье во всем сопутствовало Феликсу, и в этом смысле он полностью оправдал свое имя. Рожденный вне брака какой-то певичкой от еврея, он вдруг сделался законным сыном одного из сильных мира сего, а его благодатное для всякого исполнителя происхождение, оставаясь при нем, не фигурировало ни в каких официальных бумагах. Кстати, частичное наполнение его жил еврейской кровью способствовало приобщению его к клану, который классифицирую (согласен, это очень спорно) как новодворянский. По моему убеждению, эти полукровки пришли на смену разгромленному дворянству и в настоящий момент составляют духовную элиту советского общества, являясь как бы посредниками между шестерней партийного солнышка, с одной стороны, и пятой колонной — с другой. Повезло Феликсу и в том, что годы обучения его в школе совпали с годами ее расцвета и интереса к ней различных ведомств. Спрос на вундеркиндов в эпоху сталинского рококо был велик поразительно; он побил даже энтузиастский порыв тридцатых годов по изысканию серокожих юных дарований. И затем, по воцарении следующей династии, когда смешанная с илом волна демократизации изменила статус привилегированной школы, и ведомства уставились своим мутным, точно рыба из аквариума, оком на мускулисто-сарафанные коллективы клубной самодеятельности, удача по-прежнему шла рука об руку с Феликсом. Один за другим опускались на дно Феликсовы товарищи, составлявшие наряду с ним гордость школы (о, с каким благоговением я, будучи младшеклассником, взирал на эту аристократическую верхушку: Кондуктер, Бендорский, Линдер) — и вот целая плеяда молодых блистательных музыкантов, не находя никакого применения своим возможностям, снизошла до захудалых концертных организаций, где, смешавшись с посредственностями и под брэнчание разбитого пианино или перламутрового аккордеона, растрчивала свои таланты; кое-кто,

смирив гордыню, растворился в оркестровой массе, что было весьма разумно с их стороны. Однако Феликса это запустение и хаос, казалось, не коснулись совершенно. Наоборот. Все то, что раньше предстояло делить со своими однокашниками, он теперь получает один. Семнадцати лет он под барабанный бой прессы (его отец к тому времени поселился на Кутузовском проспекте) удостоивается первой премии на Большом Лондонском фестивале. Елизавета, обменявшись в своей ложе с Менухиным парой фраз, назначает ему стипендию, которую Внешторгбанк благосклонно принимает. Через год Феликс становится обладателем Гран при дю диск за запись концерта Хачатуряна, сделанную им на Дойче Граммофон Гезельшафт. На радостях, Хачатурян, справлявший в тот год с колоссальной помпой (я помню его приезд в Ленинград) шестидесятилетие, берет его с собой в юбилейное турне по странам Азии и Ближнего Востока. И когда в Египте певцу солнечной Армении преподнесли титул паши как основоположнику восточного симфонизма и по этому случаю прокатили на слоне, моему брату тоже перепал какой-то орден. Контракты, гастроли — мир рукоплещет Феликсу. И вот к этой овации уже присоединяются аплодисменты Внутренних Сил, что выражается в присуждении ему, девятнадцатилетнему, в компании с Расулом Гамзатовым и Пахмутовой (за песню "Нежность") премии Ленинского Комсомола. После этого, вместе с сертификатным счетом в банке, Страдиварием, неограниченными возможностями внутри страны, касающимися в первую очередь закрытых курортных зон, и неким телефонным списком, он приобретает в узком кругу вершителей репутацию общепризнанного мэтра, чье имя в скором времени будет золотыми буквами вписано в тяжелую, как гранит, антологию советского искусства.

И наконец, фортуна милостиво избавила Феликса от постыдной дани, которой в наше время облагается всякий, кто попадает в эту опочивальню избранных. По роду занятий Феликсу сходило с рук, подобно цирковым артистам, как экстравагантное имя, хотя уже Роберта или Альберта ему вряд ли бы простили, так и печать нерусскости, впрочем,

весьма умеренная и скорее намекавшая на южноукраинское прошлое, нежели на что-нибудь худое. Сим же определялась и роль его в обществе — цветка земли самоедской, но от нее отделенного и переданного самоедским царем в дар французскому премьер-министру. Вот почему, когда пару лет назад кому-то, не шибко разбиравшемуся в "ролях и людях", взбрело на ум сделать из него депутата Моссовета (Феликс после первых же своих успехов переехал в Москву) да еще плюс к этому ввести в члены ЦК ВЛКСМ, отец его энергично воспротивился такому политически недалекому шагу, как, вероятно, он говорил об этом вслух, пытаясь породить в своем оппоненте кое-какие мысли, близкие к христовым, избегая прямых ссылок, естественно, но про себя — про себя он вспоминал Бориса. Поясняю: Богу — Божье, а Кесарю — земное — каталось на кончике его языка, а сердце при этом пело: не спрашивай, каким путем я царство приобрел, тебе не нужно знать... Как бы там ни было, но Феликса оставили в покое.

Такова вкратце история моего брата. Добавляю к ней несколько слов о себе. Успехи мои в игре на фортепиано были настолько посредственны, что к восемнадцати годам я окончательно пал духом. Трудно сказать, к чему бы это все привело, если б тогда же мне не открылось мое истинное призвание. Словно очнувшись от длительного сна, я поклялся следовать ему до конца дней. С того времени прошло восемь лет, и я, на мой взгляд, значительно преуспел в этой работе, однако засвидетельствовать мои успехи совершенно некому, так как я никому не даю ничего читать. Одна барышня, которую я уже, кстати, давно не видел, не в счет. На жизнь я себе зарабатываю тем, что веду класс пения в начальной школе и при той же школе — кружок фортепиано.

Кажется, я остановился на том, какой переполох в Днепропетровске произвела телеграмма Феликса. До поздней ночи, вместо обычной уже к этому часу музыки, мой слух различал перешептывания, которые прерывались кряхтением, ворочанием и затем начинались опять. Дед с бабкой ругались из-за

того, кого пригласить завтра к обеду. От наплыва детских воспоминаний моя грудь расширилась и на глаза навернулись слезы. Я встал, чтобы выйти на балкон. Услышав, как я встаю, бабушка издала пронзительнейшее "тишшш" — национальное, иерихонское...

Целый день пробыл Феликс в Днепропетровске, рассказывая деду всякие истории, которые тот слушал с трогательной сосредоточенностью: зажмурившись и оттопырив рукой ухо. Бабушкино участие в разговоре ограничивалось одним вопросом, который она периодически задавала: "Фелинька, так ты еще жениться не собираешься?"

В семь вечера за Феликсом закрылась дверь — мы не провозжали его, так как ему надо было к кому-то зайти и передать от каких-то знакомых привет, дню же предстояло еще несколько часов угасать — "словно чья-то жизнь, продолжающаяся уже вопреки всякому здравому смыслу, ибо уже все позади", — подумал я тогда. Дня три мы питались тем, что осталось от царского бабушкиного обеда, и лишь когда все съели, ко мне вновь вернулось прежнее душевное равновесие, с полетом солнечных брызг, с облепившим ноги песком, с томиком Гейне после вечернего чая.

Еще один змеиный изгиб пути, который невероятно каким образом преодолевает негнущийся вагон — кажется, что он при этом вот-вот сойдет с рельсов, — и справа возникает желанный зеленый фасад. Легкое возбуждение вторично и совершенно напрасно направляет пальцы в карман пальто за сигаретой. В моей стремительной походке есть что-то ребяческое — мандат и наган, утренние поезда из Москвы — это непременно в лучах восходящего солнца. "Песня о встречном" — вот что такое я — на перроне в воскресенье утром и на голодный желудок.

Поезд плавно остановился, и толпа метнулась, словно встречала челюскинцев. Дать точное описание Феликса? Это была одна из пробных моделей Алена Делона — с ног до головы в заграничном, и — это очень важно, ведь кто теперь не в заграничном, — чувствовалось, что все покупалось им *не здесь*. Особое мое внимание привлек видневшийся воротничок сире-

невой рубашки из как бы ломающейся ткани и того же цвета миниатюрный галстук. Точно такие же галстуки продавали цыганки у Апраксина Двора, только из черного бархата и в блестках. "Кажется, в Ленинграде бархатный сезон?" — скалабурил Феликс, угадывая мои мысли и подавая костлявую, как не знаю что, левую руку, потому что в правой держал футляр. И он был прав: стоял март, дикие холода остались позади (если только я правильно понял эту шутку, в которой комический момент заключен в сопоставлении психологии ленинградца и, скажем, сочинца). Я повесил через плечо его дорожную сумку на двух длинных ремешках, и мы пошли. Все произошло так молниеносно, что, когда мы уже сошли с перрона, толпа по-прежнему плескалась у вагонов, разрываясь между чемоданами и поцелуями. Я решил так: расскажу-ка я ему сперва про деда с бабой — тема и серьезная, и в то же время легкая, на ней в глупость не сорвешься (я неумелый собеседник, на шутки отвечаю буквально "да" или "нет", а когда ко мне перестают обращаться, то не в силах остановиться — сам выпускаю изо рта длинных угрей с неизменными головками, состоящими из "а скажите, пожалуйста, как вы думаете..." — тут уж мне начинают в ответ "дакать" и "некать"). "У тебя телефон Бендорского есть?" — спрашивает Феликс (ну вот, уже успел наскучить). Бендорский или Бендора, как мы его звали, когда-то также в школе подававший блестящие надежды, но... в таких случаях обычно разводят ладошками и, сооротив глупую рожу, блестят эпителием оттопыренной нижней губы. Его телефон я помнил со школьных времен и как можно быстрее назвал, чтобы Феликс не подумал еще, что я, чего доброго, хочу его утаить, так как далее я высказался против звонка к Славке ("...партию виолончели — Святослав Бен-дорррский!") в столь ранний час. Но Феликса это мало смутило. Велев мне достать из наружного кармашка сумки жетончик, он подошел к автомату. "Алло, Славик, это я... — и некоторая выжидательность на лице, вероятно, Бендора также паузировал несколько секунд. — Да... да... только что..." Когда Феликс говорит по телефону, если только не заказывает такси, голос его словно размакает

от томности. Ну, разве возможно, чтобы в другом случае он называл Бендорского Славиком, Славка — и весь разговор. "Да, Славик, да, милый, непременно будем... прямо сейчас... ну к кому же еще, птица ты моя". Так, значит, прямо к Бендорскому. Очень жаль, я думал где-нибудь позавтракать. Но ведь Феликс читает мои мысли. "Да, Славик, у тебя пожрать что-нибудь будет? Яичницу сделаешь?" И неожиданно оборачивается ко мне: "Яичницу сделает". Как будто я спрашивал его об этом.

В троллейбусе, в тот самый момент, когда он стоял на перекрестке и сплошной стеной перегородили Невский трамвай, которые иногда удивительно напоминают передвигаемую кем-то мебель, я поинтересовался у Феликса: "А скажи, пожалуйста, тебя не волнует мысль, что этот трамвай, который сейчас видим мы, еще совсем недавно, быть может, разбудил девушку где-то на Петроградской, на Максима Горького, а вскоре разбудит и юношу, предположим, на Майорова или на Никольском, и вот они не подозревают друг о друге, а (я хотел сказать Бог, но постеснялся) некая сила, увидев это, решила: дай-ка я столкну их сегодня вечером вот здесь, где мы сейчас, — на углу Невского и Садовой, потому что они очень красивы, а я, такая старая, влюбилась в их союз — и глядишь, назавтра, наутро, они уже вдвоем вскакивают с постели, когда на Максима Горького сворачивает трамвай". Я сказал все это, посматривая на трамвай (а не на Феликса), как будто между прочим, с небрежностью наблюдателя, для которого главное, чтобы дали уже, наконец, зеленый свет — не помогло. Феликс громко и с неожиданной злостью, так что весь троллейбус услышал и многие обернулись на меня, спросил: "А (далее знаменитые три буквы, из коих последнюю поместить возможно, так как она изменена склонением, а первые две пусть уж останутся для читателя как "икс" и "игрек" с учетом их привычного начертания)... я не хочешь?" Да, это было свойственно Феликсу. Посреди всеобщей тишины дикая злость — я полагаю, что его так раздражило это наше стояние, — а затем все мгновенно проходит. И хотя мне хорошо известно, что он подвержен таким приступам, в носу

все же защищало. Очевидно, Феликс также пожалел о сказанном, потому что, прежде только посмотрев некоторое время широко раскрытыми глазами куда-то в пространство, как ни в чем ни бывало спросил: "Ты сейчас пишешь?" Он знал, что я сочиняю и что для меня это очень важно, и всегда спрашивал об этом, причем без всякой иронии, а наоборот — очень серьезно. Я ответил. "И по-прежнему никому не показывал?" Я опять ответил. Кстати, если бы Феликс уж очень попросил, я бы, пожалуй, дал ему что-нибудь прочесть.

Мы сошли на Гоголя. День выдался весенний и радостный, обещавший продолжение оттепели, — с крыши упала сосулька, угодив прямо в сумку к женщине, когда та выходила из продовольственного магазина. Женщина и испугалась, и растерялась — в сумке у нее имела баночка простокваши, бутылка молока, бутылка растительного масла и бублики. Теперь это все превратилось в некую питательную массу. Надо думать, что бедная женщина сейчас опорожнит свою сумку в ближайшую урну, затем вернется домой, вымоет ее и отправится в тот же магазин. Если б я был на ее месте, то, безусловно, выбросил бы все вместе с сумкой, а не морочился. Пока я делился этими соображениями с Феликсом, из того же магазина вышел не кто иной, как сам Бендорский. При виде нас дух его несколько смутился, он перестал смотреть себе под ноги. А рядом с дверью как раз, как обычно в таких случаях запоздало поясняют, проходила водосточная труба, под которой, хотя прежних густых сопель уже не было, все же имела корочка. Устремившись к нам, Бендора проехался по ней и сел, — десять желтых глаз выразительно застыли на асфальте. Вендора просидел немного дольше, чем обычно сидят в таких случаях, попеременно глядя то на нас, то на яичницу. Затем все мы дружно рассмеялись, я помог ему подняться, и они с Феликсом расцеловались — как-никак они были когда-то большими друзьями.

"Ну, что будем делать?" Решено было позавтракать в молочном кафе напротив, которое уже открылось. Они взяли по яичнице с беконом, а я, подумав, решил все же не искушать судьбу и спросил себе "рисовую кашу, молочную" и к

ней две порции сахарного песка. Тогда каша действительно становится сладкой, как я люблю.

Бендорский (с набитым ртом): "Ну, Фелька, давай рассказывай". Феликс (при этом элегантно почавкивая): "Музеи? Юбки? Музыкальные впечатления? Нужно подчеркнуть" "Про юбки, вестимо, а уж опосля о впечатлениях", — ухмыляется Бендорский. "Нет, Бендора, ошибся, — кричу я тут Славке, — не о том спрашиваешь, он только что из Шотландии".

Феликс, печально склонив голову, смотрит на меня и издает тяжелый вздох, словно созерцает свое неполноценное дитя. Инстинктивно я закрываю ладонями тарелку, мне показалось, что он сейчас туда плюнет. Этот двойной идиотизм с моей стороны рассердил его, кажется, не на шутку, я даже испугался, что он возьмет и уйдет, но он только сказал переменившимся голосом: "Маразм какой-то". И дальше уже обращался исключительно к Славке (но и Славке я не завидую, так язвительно заговорил он с ним): "Значит, о девочках не желаем послушать, а желаем послушать о музыкальных впечатлениях. Поделиться готов. Из последних шотландских, конечно? Значит, приехали мы с Алешей в Эдинбург (поясняю: Алеша Новицкий — постоянный концертмейстер Феликса, о нем мне известно немного, лишь то, что он учился в Москве и в совершенстве владеет несколькими европейскими языками), и только вошли мы в отель, видим — нам навстречу идет Пабло Казальс. Привет, привет, как живется-можетя? Да, спасибо, а вам? Тоже неплохо. А вот вы, золотце, я давно собирался у вас спросить, ведь вы, кажется, в Ленинграде учились, так не знаете ли Славу Бендорского, виолончелиста? Как не знать, это же кореш мой, вместе на котов охотились. Ну да, говорит, до чего же приятно разговаривать с другом такого замечательного музыканта. Никогда не забуду, как несколько лет назад в день вашей прекрасной Красной армии слушал передачу московского радио "Играют молодые исполнители" и до глубины души растрогался вдохновенной игрой этого юноши. "Песнь птицы"* была им спета так, что любой,

* Пьеса, написанная Казальсом.

включая и автора, может позавидовать. Только почему вот его имя не украшает афиши концертных залов Европы и Америки, как ваше или мое, к примеру. Где он? Что он сейчас делает? На что я: а какой сегодня день, маэстро? А он: воскресенье. Тогда в бане, видите ли, у него по воскресеньям банный день".

Нет, это было невыносимо слушать. Так издеваться над Славкой только из-за того, что я, идиот, закрыл руками кашу... И я решился, будь что будет, но подтолкну брата коленкой. "Ты что, совсем с ума сошел?" — мгновенно отозвался он. В его голосе вдруг зазвучали истерические нотки, и я не мог понять, что это — распушенность человека, которому все дозволено, или... "Или вы еще, может, думаете, что я лгу, что я садист, издеваюсь над страданиями неудачника Бендоры? А? Нет, ответь, Феликс лгун, по-твоему, да?" И его лицо перекосила ужасная гримаса. Славка бледный, с мутными глазами (в то время, как у Феликса они горели), встал из-за стола и тихо произнес: "Нет, Феликс, ты не лгун, ты подлец". На это Феликс, сощурившись, процедил сквозь зубы: "А платить, платить, ты думаешь, за тебя дядя будет?" По-моему, Славка пошатнулся после этих слов. Но тут произошло самое неожиданное — Феликс внезапно рассмеялся и сказал: "Славка, Славка, какой же ты у меня глупый, — и вынул из кармана продолговатый белый конверт. — На, читай".

"Дорогой сэр, — язык у Бендоры заплетался, — пользуюсь случаем выразить то глубокое восхищение, которое вызвало у меня ваше исполнение "Песни птицы". Надеюсь, что увижу вас на моем семинаре по виолончельному искусству, который состоится в конце этого месяца. Ваш Казальс".

— Фелька... — а у самого голос блеющий, словно только что пробежало чудо чудное и у Иванушки открылся рот. Затем постепенно на лоб его набежала тень. Брови стали подниматься, а за ними поползли наверх и плечи, и грудь, покуда все, наконец, не разрешилось тяжелым вздохом. Вслед за Бендорой вздохнул и я, и только на губах у Феликса по-прежнему играла усмешка, вновь показавшаяся мне дьявольской. Но вот на стол перед Славкой легла еще одна бумажка.

— ?

И вдруг он побежал глазами по строчкам все быстрее и быстрее: "Уважаемый товарищ Бендорский! По решению Министерства культуры СССР вы направляетесь на международный семинар виолончелистов "Фонд Пабло Казальса", который будет проходить с 12 по 30 марта 1966 года в г. Париже (Франция). По всем вопросам, касающимся вашего выезда, обращаться..."

И что же, опять два яичных глаза с изумлением взирают с пола на неуклюжий Бендорин локоть, а кошка слизывает с них поволоку, но никто не орет, никто не грозит вызвать милицию: жесткий бумажный комочек, опущенный Феликсом в чью-то заскорюзлую ладонь, оказал свое магическое действие, и уже целых два животных виляют хвостами у наших ног: одно, подбирая ломтики бекона, другое — куски разбитой тарелки.

"Ну что, можем идти?"

Мы вышли на улицу. Солнце, все еще висевшее над самыми крышами, ослепляло нас, отчего мы щурились, подтягивая щеки к глазам, — со стороны, наверное, казалось, что мы так улыбаемся. Солнце обладало легендарной способностью делать золотым все, к чему б оно ни прикоснулось, хотя и ценой последующего обращения в грязь. Расплачивались за это владельцы брюк, чулок, а также дворники, красные, как раки, от неустанных трудов. Какой-то дворничихе помогал ее безмужний сын (клянусь, у всех дворничих дети рождаются так), он орудовал лопаткой не шире собственного личика, а все же помогал. И эти будущий дворник с мамашей казались мне причастными — наряду с приездом Феликса, радостью Бендорского — к великой радости в моей душе. Солнце отрывало от карнизов сосульки, и в ужасе, что одна-другая упадут в сумки, а третья угодит все же кому-нибудь за шиворот, оправдывали организовывали очистку крыш. Тогда вдоль карнизов домов выстраивались рабочие с лопатами и ломиками, а внизу на противоположной стороне, собиралась толпа, чтобы увидеть, как срываются вниз и разлетаются на мелкие части ледяные глыбы. Под грохот этой бомбежки жизнь была прек-

расна. Однако последнее резюме, произнесенное мною вслух без предварительных пояснений, не могло быть верно понятым и потому осталось без внимания. Рассказывать же сейчас им о своих настроениях, пусть даже возникших на почве такого объективного явления, как весна, когда Бендоре было ни до чего в целом свете, а Феликс по вполне понятным причинам занимался в это утро больше им, нежели мной, — рассказывать же обо всем этом сейчас я не смел. И никак не находила для себя выхода моя песня.

Слушая, что говорит Феликс Славке, я уже видел путь, предстоявший последнему, прямо с этого места, с угла Герцена и Гороховой, и до самого Парижа — с неоновым свечением, ночными полетами среди звезд и с сердцем, исполненным бесконечных предвкушений. Сейчас Бендоре предстояло: во-первых, "почистить перышки" ("Бендорчик, а водогрей у тебя работает?" — "М-м-м", — и при этом рот до ушей), во-вторых, собрать чемодан, мыло, щетку, желательное иметь пиджамы, да и фрак ("А фрак есть?" — "А как же", — голосом бедуина, у которого спрашивают, есть ли у него верблюды. И тоже — рот до ушей. Феликс: "Воображаю"...), и, в-третьих, быть на Московском вокзале не позднее четверти двенадцатого.

"Повтори". Славка повторил, даже Феликсовым голосом. "И паспорт не забудь, а то я вместо тебя поеду". — "Фелька, — проговорил вдруг Бендорский, кокетливо втянув голову в плечи, — Фелька, у меня есть только 10 рупий. Еще в баньку надо сходить с веничком и бутылочкой пивка — значит, 60 коп. долой, итого выходит..." Феликс посмотрел на Славку, как уже раз смотрел на меня, печальными глазами, в чем по старой школьной привычке я еще заподозрил обманный маневр с целью неожиданно плюнуть, и сказал: "Ладно, Славка, валяй, угощаю".

Стали прощаться. Я внутренне напрягся: со мной тоже будут прощаться или нет. На всякий пожарный я уже держал наготове руку, не желая, чтобы это вышло как бы неожиданностью для меня, я ведь по натуре своей довольно горд — очень боюсь проворонить что-нибудь, а затем прослыть чело-

веком назойливым, о котором думают: "Вот привязался еще, как банный лист". Однако я беспокоился напрасно. Феликс вовсе не собирался со мною прощаться, — наоборот, как выяснилось, он нуждался во мне. Когда бедняга Славка ушел (почему "бедняга?" — да ведь теперь — как никогда), брат обратился ко мне с такими словами: "Поклянись памятью Щорса, что сегодня вечером ты свободен (?!!)". — "Клянись". Я даже глазом не моргнул, зная, что за этим кроется какой-то розыгрыш и любой мой вопрос бумерангом обернется против меня же. "Чем клянешься?" — сделал вторую попытку Феликс, но безуспешно. "Клянись Щорсом, Котовским и еще десятком красных командиров, что свободен сегодня вечером", — ответил я с каменным лицом. Такой уж прыти он от меня никак не ожидал. Вышло, что он сам себя и поддел. "Ну, раз так, то пошли", — и одобряюще похлопал меня по спине, вернее, по своей же сумке, которая привлекала к себе, а заодно и ко мне немало любопытных взглядов. Не могу сказать, чтобы они мне были неприятны. Пожалуй, в этом плане наибольшее удовлетворение я испытал на стоянке такси. Феликс стал не в тот конец очереди, а когда какая-то коммунально-стервозная дамочка указала на хвост о двадцати головах, он только брезгливо поморщился, словно она указала ему на размазанную по стеклу муху. Тут уж все двадцать дам и кавалеров от такой возмутительной наглости вышли из себя. Басы скандировали "в морду", а визгливые настаивали на милиции. Милиционер, всегда пасущийся неподалеку от мест скопления, уже спешил со своим извечным "в чем дело". На мгновение в ладони у Феликса что-то сверкнуло. Страж вдруг учтиво кивнул, словно официант, и остановил первую попавшуюся "Волгу". К тому же он сам открыл заднюю дверцу и козырнул нам на прощание. Что я испытал в этот момент? Представим, что на стоянке была одна молодая чета, и в то время, как он порывался ударить меня, она, в том же самом зеленом пальто, она, словно я ей никогда ничего не читал, глядела на меня волком. Так что же испытывал я в этот момент? Машина, в которую мы сели, оказалась исполкомовской, и шофер, пользовавшийся ею, без сомне-

ния, не в служебных целях, хмуро буркнул: "Куда едем?" Феликс назвал адрес. "К Толстикову в гости, что ли?" — любопытствовал всезнающий исполкомовский возчик, но Феликс не ответил и этим пресек дальнейшие разговоры.

Мы проезжали самые красивые места, описали полукруг по Дворцовой, понеслись пулей вдоль набережной, подскочив на маленьком горбатом мостике так, что внутри все оборвалось. Справа мелькали, словно вчера опустевшие, пенаты российского барства, слева исполинским кораблем с крестом и ангелом на золотой мачте дрейфовала во льдах Петропавловская крепость. Мы свернули на Кировский мост. Вид стрелки Васильевского острова с двумя потухшими свечами Ростральных колонн по краям был прекрасен до того, что скорей воспринимался, как большая вырезная картинка, нежели, как часть подлинного города. Затем мираж Петербурга исчез, и мы углубились в серокаменный затвор Петроградской стороны.

Мы все время разговаривали. Это было тем более необычно, что говорил в основном Феликс, а я, по преимуществу выступал в роли слушателя. Со стороны шоферу, например, могло даже показаться, что Феликс — это я, а я — это он. Объяснение подобному чуду я нахожу лишь в проявленной мной выдержке, когда он готовил какой-то подвох со Щорсом, а я скрепился и не поддался. Безусловно, мне уже теперь не узнать, что именно он готовил — Феликс не повторяет своих шуток дважды. Но я охотно жертвовал этим знанием взамен на уважительное к себе, как то было сейчас в машине, отношение. "Ты мне нужен вот для чего", — награждал меня Феликс орденами своих объяснений, лишенных на сей раз иронии и колкостей. — Сегодня вечером у меня будет выступление... не так, чтоб ответственное, но такое... закрытое. И надо перевернуть Алеше ноты... есть неудобные перевероты. Звонить кому-нибудь из ребят... понимаешь... я не всем, как Бендоре, могу привезти такое письмо... так вот, не хочется их просить. И я подумал, что ты это можешь. Мы сейчас приедем в один дом, там меня ждет Новицкий, репетнем чуть-чуть, пообедаем, а затем за нами приедут. И прошу тебя, будь раз-

говорчив, но в меру. Не болтай, а то ты любишь". — "И с Алешей тоже?" — удивился я. — "И с Алешей тоже".

Мы остановились у какого-то дома. Со словами тихой благодарности шофер принял из рук Феликса динарий кесаря, моделью для которого послужил юбилейный рубль, и уехал. Во мне все трепетало — я впервые в жизни наносил подобный визит. За те несколько мгновений, что равнялись числу шагов от автомобиля до подъезда, мой ястребиный взор успел скользнуть по диагонали через все здание. В нем не было ничего особенного, ни глаз на фасаде, ни биноклей в окнах. Вместо привычного звонка (после нажатия кнопки) зазвучал нисходящий целотонный тетракорд — и перед нами, как кукушка из домика-часов, появилась барышня в халате а la кимоно, а за ней следом мироновский дискобол, выпрямившийся наконец, — богатырь Алеша Новицкий. На нем был черный костюм, и надо признать — рядом с моим Феликсом и даже рядом с барышней (даже, потому что стяни с нее халат — ничего не останется) Алеша несколько походил на дровосека на свадьбе. Меня представили, и дальше возникла некоторая неловкость. Я, конечно, сразу истолковал ее по-своему, но не знаю, быть может, я ошибся, утверждать не берусь. Вот как это было. "Такой-то, такой-то, познакомьтесь". Я: "Очень рад". Он: "Также". Она подает какую-то реплику, нечто вроде "раздевайтесь, пожалуйста" (как оказалось, она — Алешина двоюродная сестра, учится в ЛГУ, на истфаке). Вдруг Алеша и спрашивает Феликса, причем вопросительной интонации нет и на грош, а больше укоризны: "Так ты обещал найти кого-нибудь, кто бы перевернул мне страницы, ты это сделал?" Феликс: "Сделал" — и пожимает плечами, дескать, экая проблема!

Алеша (словно барабанил пальцами за неимением стола, или доски прямо по губам): "Тэк-с". Я: "Феликс попросил меня перевернуть вам ноты, он сказал, что у вас есть неудобные перевероты, и я..." — "А вы сумеете?" - "Я - пианист, веду кружок фортепиано в школе". Феликс (спокойно): "Это мой близкий школьный друг".

Я совсем забыл сказать, что мы с детства были приучены ни перед кем не открывать истинной природы нашей близо-

сти. Как мне впоследствии объясняли, чтобы не причинять боли московскому отцу Феликса. Допустим. Таким образом, ни в Ленинграде, ни в Москве не знали, что в Днепропетровске живут двое стариков, у которых столетний балкон, одинаково дорогой нам, и тому подобное...

— Тогда порядок, — говорит Алеша, — только туфли, туфли ваши — они не чисты для эстрады.

— А ты попроси у своей кузины щетки и ваксы, — у Феликса опять во рту вместо языка змеиное жало.

— Да вы проходите, что вы здесь стоите, — тоненьким голоском завершает этот диалог в прихожей девушка-историк.

Конечно, ничего особенного тут сказано не было, а мне с моей мнительностью уже чудится Бог знает что, но все же я ручаюсь — башмаков моих он не видел: во-первых, до колен ноги мне заслоняла какая-то штука-тумбочка, во-вторых, она отбрасывала такую тень, что надо было посветить спичкой, как в темном углу, чтобы вообще что-то разглядеть, и, в-третьих, я их сегодня утром успел почистить — позавтракать не успел, а вот почистить успел. А потом я еще услышал, когда переступал порог комнаты, как за моей спиной Алешин голос прошептал: "А ты, Феликс, знаешь, фантаст". И запущенный в ответ огрызок: "Заткнись". Я почувствовал, что Алеша при всей своей дискоболистости боится моего брата. Да и как не бояться? Что значит Алеша без Феликса — пустая вазочка. Да в Москве таких вазочек сколько угодно, а Феликс — он единственный.

Комната сама по себе мне понравилась — большая, с высоким потолком, солнечная. Такую легко было бы обменять. Но мой взгляд неприятно резанули во множестве развешанные по стенам репродукции популярных в последние годы мастеров, таких, как Рублев, Эль Греко и модные японские художники. На этот счет у меня имелась особая точка зрения, и я не преминул ее высказать. "Некоторые почитают за особый шик украшать репродукциями с картин стены своего жилища. Не понимаю этого. Не понимаю по той причине, что подобные галереи открываются людьми, считающими себя любителями данного искусства. Я-то сам не любитель, живо-

пись для меня... но, в общем, это к делу не имеет отношения. И вотходишь в подобное жилище и видишь — висят, зачем, спрашивается. Если ты живешь этим, как иной музыкой, то достань в момент наивысшей потребности свою картинку, посмотри на нее, утешься и спрячь обратно в тайничок. А то выходит: ты просыпаешься — она у тебя перед глазами, и добро б одна — с десяток; бежишь, извините, в туалет, а глазами — зырк в "Блудного сына"; ешь сладкую кашу, а даже не удосужился повернуться к каким-нибудь фруктам двухсотлетней давности, которые у тебя, кстати, за спиной. И жуешь себе на здоровье, безразлично уставившись на кровоточащий Христосов бок. (Слышу, слышу уже ропот оскорбленных читателей: "А ты кашу жуешь, да?" Но Феликс меня почему-то не останавливает, и я волен продолжать.) Это точно так же, как если бы поклоняющийся вместо живописи музыке (те же читатели, голоса мною потерянные: "А не вместо не бывает? Да?") всегда держал бы включенным радио и не одно еще, а сразу несколько, по углам: полез за вареньем в буфет, слышишь, вроде бы Гайдн, подсел поближе к свету, уже Мясковский перебивает. Так ведь нет же, такое бывает лишь в парикмахерских, тогда как обходиться по-брадобрейски с художниками их пылкие поклонники не считают..."

Бенц! Наконец, меня прервали. Она. Не говоря ни слова, принялась снимать со стен все, что на них висело. Когда это было проделано, она прислонилась к вдруг облысевшей стенке и вперила в меня свой взгляд праведницы. Я посмотрел на Феликса, тот только усмехнулся. И мгновенно праведность упорхнула из ее глаз, как голубка из клетки, а следом за ней — и чувство страха, уже начавшее набухать в моей груди. Заодно я посмотрел и в Алешину сторону. Там было разлито полнейшее равнодушие ко всему, что делалось. Форма для этого была избрана самая подходящая. Алешин взор скучал. Но под напускной сонливостью этого молодца я все же сумел различить искорки злобы, избравшей своей мишенью почему-то Феликса. "А-а, вам еще помешал мой Моралес" ("мой", словно это подлинник). Оказывается, над Алешинной головой висела картинка, мною случайно приписанная

Эль Греко, а ею по этой же причине не снятая. Она похитила у фортепиано круглую вращающуюся табуретку, взобралась на нее (ах, вот почему она не сделала этого сразу, а вовсе не потому же, почему я перепутал художника, — "случайно" — я, кстати, удивляюсь, как мог так промахнуться), мало — подтянулась на цыпочках, и табуретка накренилась, а она с нее свалилась, — как в песне, с рифмой.

Я еще подумал, что если мужчинам падение к лицу, ибо распростертое мужское тело, скажем, офицер у знамени, свидетельствует о мужестве, которое в воображении особ прекрасного пола быстро подменяется понятием мужественности, являющимся в свой черед для патриоток основной мужской красоты, то самим им падать даже в обморок в присутствии тех, кому бы они хотели понравиться, никак не стоит, тем более, что в силу особенностей их туалета падение приводит ко всякого рода неряшливостям. Да поверят мне, я не хам, и не потому, что до сих пор сильная личность по имени Феликс держала меня в узде, а вот теперь отпустила вожжи, — и я, личность слабая — помчался, распоясался. Нет, я просто вздохнул вслух, в голос, и как частичка моей души, вылетая, все же закабалилась в этом звуке, так и мысль моя, против моей воли, совершенно произвольно через вздох отпечталась на этом бесформенном и неопределенном звуковом материале. И что же вышло? Я все сказал вслух.

Бой барабанный. Гаснет свет. Все затаили дыхание, но артистка, сорвавшаяся с трапеции, встает, отпускает (недавно еще вся в блестяках) матерное ругательство и, прихрамывая, уходит. Тут уж Феликс заржал, Алеша состроил еще более скучную мину (Байрон на лужайке), а я — ни то ни се. В заключение всей сцены маленький комментарий: Алешина сестра разыграла ее из желания понравиться Феликсу, что он без сомнения понял и на что по-своему отреагировал. Это меня и спасло. Мы услышали, как хлопнула наружная дверь. "Репетнем?" — спросил Феликс. Для Алеши даже в такой форме высказанное пожелание брата являлось приказом. Он молча поднялся и установил не прежнее место злополучную табуретку. Покуда Феликс извлекал из футляра свое

неестественно блестящее для музейного экземпляра сокровище, Алеша виртуозно прошелся по клавиатуре — каким уродом ни была бы иная "красавица", для мужчины кокетливого она все-таки остается женщиной хоть на самую малость. Другими словами, и для Алеши Новицкого я оставался пианистом. Я также занял свое место, и работа закипела.

Программа их сегодняшнего выступления меня прямо-таки сразила. Она включала в себя пьесы, для современной демократической публики совершенно неприемлемые и годные разве что услаждать провинциалок, чьи вкусы определялись оглядкой на великосветские салоны времен аббата Листа, известные им по рассыпающимся в прах иллюстрациям к журналу "Нива" за ох-ты, Бог ты мой, какой год. Я с ветерком перелистывал страницы таких жемчужин, как фантазии на темы "Фауста" и "Кармен". Да что говорить, если наиболее серьезным из игранного нами являлось "Рондо-каприччиозо" Сен-Санса, а венчала программу "Блестящая концертная фантазия на тему "Карманьолы" рук С. Даниэля. "Это что, будет как бы лекция-концерт?" — спросил я после очередного переворота у напряженно, по-токатному вытянувшего шею Новицкого, но тот был слишком занят своими шестнадцатыми, и вместо него ответил сам Феликс, при этом не переставая играть, потому и неестественно громким, и неестественно высоким голосом.

— Да, называется... "Музыкальная культура Второй империи, или добро пожаловать, друзья французов".

Преотвратный тип этот Алеша, что говорить. Если б ему задал вопрос не я, а кто-нибудь другой, то, будь у него даже в нотах шестьдесят четвертые, все равно бы сумел ответить.

"Ну все, кончай эту фигню, — сказал Феликс, опуская скрипку. На шее и на ключице у него горело два пятна. — Пора пожрать да одеваться". И тут же на глазах Алеши Новицкий превратился в угодливую горничную: "Горячего чего-нибудь или так?" — "А, возиться еще, давай что-нибудь по-быстро-му". — "Тогда иди мой руки, через пять минут все будет готово". Мне он этого не предложил, но так как это подразумевалось само собой, я последовал за Феликсом в ванную.

Ванная... (я бывал также и в богатых домах и видел ванны, причем в таких, чьи хозяева впоследствии отправлялись на тот свет, угощенные пулей в затылок, — казнокрад Б., отец моего товарища Фолика, например, или же один старичок-валютчик, внуков которого я репетировал, — но такой ванной... Дорого бы я теперь дал, чтобы увидеть Алешину сестру голой, ведь когда жизнь проведена в *такой* ванной, тело становится как бы отлитым из чистого золота, а я еще сказал, что сними с нее кимоно — ничего не останется, ну и даю я). Когда мы вернулись, стол был уже сервирован — говорю так, потому что четкость и профессионализм возведенных на нем укреплений могут быть переданы только этим словом. Приборы стояли, как в ресторане, а всякие ломти и ломтики, коими их еще надлежало зарядить (ибо они являли собой вид холостых орудий) безусловно переплевывали и ресторан. Между прочим, стоял графин с ананасовым соком, которого я никогда не пробовал. Действительно ли человек есть то, что он ест? Впервые в жизни эту казавшуюся бесспорной формулу я подверг сомнению. А все благодаря Алеше: на столе, к моему удивлению, не было икры — в моем воображении ритуального кушанья во всех "господских" домах, и Феликс, уже в который раз угадывая мои мысли, тут же спросил: "Хочешь икры?" — "Да нет, спасибо..." — начал я и смалодушничал. Как девушка, я добавил: "Не знаю". — "Хочешь, хочешь, не стесняйся, здесь этого добра всегда навалом, только сохнет. Алеша, будь так добр, принеси гостю икорки". И гад Алеша отвечает: "Знаешь, Феля, надо новую банку открывать, а перед концертом консервный нож боязно в руки брать". — "Ну, тогда я сам открою, мои ведь пальцы не такая драгоценность, как твои". Феликс только делает вид, что встает, а Алеши уже нет. Конечно, мне следовало бы или категорически отказаться от икры, что испортило бы Феликсу всю его игру, или предложить открыть самому, что пришло мне в голову слишком поздно. "И белого вина к икре подать неплохо бы". Это, когда Алеша вернулся с икрой, нетронутая поверхность которой, икринка к икринке, была гладенькой-прегладенькой. Алеша безропотно повиновался и принес ви-

но, и даже с неожиданной учтивостью сам налил его в мой бокал, а затем полумашинально, полу еще как-то, нацелил горлышко бутылки в свой, но... "Ты что, — Феликс даже побагровел от гнева, — разве сегодня ты ноты переворачиваешь?" Алеша моментально отодвинул бутылку на самый центр стола. "Как будто я приставлен за тобой следить, а не ты за мной", — все еще продолжал возмущаться Феликс.

То, что Феликс отчехвостил так Алешу при мне, я еще мог понять, в конце концов, я был его братом, и потом, ведь он же чехвостил, а не наоборот, но что Алеша этим нимало не смущался, словно здесь всего лишь нонсенс слабоумного в кругу воспитанных людей или еще лучше — гнев восточного деспота, обрушенный на незадачливого вассала в присутствии его оруженосца, — это уже выходило за пределы моего разума. Во всяком случае, как бы Феликс ни относился к Алеше, а тот в свою очередь ко мне, я продолжал оставаться человеком XX века, соблюдающим приличия. Желая как-то все смягчить, я рассказал им историю, которую Феликс не слушал, потому что он меня никогда не слушал, а Алеша — потому что, как легко догадаться, меня игнорировал. Но, как бы там ни было, на сей раз я ну совершенно не сожалею, что сунулся с неуклюжей историей, ибо гордо усматриваю в этом проявление культурности... ну, хотя бы воспитанности европейца в компании, отставшей от него в своем развитии лет этак на пятьсот. А рассказал я анекдотический случай, приключившийся со мной, когда я еще учился в последнем классе школы, благо это было к слову, Феликс-ву, об Алеше и переворачивании нот. Я аккомпанировал одному трубачу на шефском концерте в клубе — мы ехали от школы — и тоже попросил, чтоб мне кто-нибудь перевернул ноты. Вызвался какой-то парень. Я ему объяснил: как только кивну, переворачивай. Вот дошли мы до конца страницы, я головой мотнул — и что же, он исполнил мою просьбу в точности, перевернул ноты, поступил с ними так, как в некоторых домах поступают гости с чашками, когда желают дать знать хозяевам, что больше уже чаю не хотят. А ведь в сущности он не был виноват. Простительней ему не знать, как об-

ращаться с нотами, нежели нам, интеллигентным людям, допускать подобные неправильности в своей речи. Скажи я ему тогда: переверни, друг, пожалуйста, страницы — и все было бы в порядке. Но мы, музыканты, народ упорный, вот уже сколько я эту историю ни рассказываю, все по-прежнему продолжают "переворачивать ноты"...

Как я говорил, моя история, несмотря на то, что соединяла в себе два редко встречающихся вместе достоинства — забавный сюжет и дидактический характер, успеха не имела. После этого я замолчал, сочтя, что свой долг перед цивилизацией исполнил до конца (не ищите иронии — не найдете, чувство ответственности перед цивилизацией может проявляться и в таких пустяках; так даже ценнее). Так в бесславном молчании протекал и завершился этот обед, изысканнейший в моей жизни.

Утершись салфеткой, Феликс пошел облачаться в вечерний костюм. Алеша, который уже был в черной паре — ему оставалось только снять свой передник, и он мог появляться на эстраде (совсем забыл сказать, что перед обедом он повязался бабьим передником, ну совсем как толстовско-лесковский гусар, устыдившийся войти в гостиную), — убирал со стола, гремя тарелками. Мы впервые оказались с ним наедине, он делал вид, что не обращает на меня внимания, да и я вел себя точно так же — кружил по комнате. Вскоре зазвонил телефон. Это, как я понял, сообщили, что высылают за нами автомобиль.

Я написал последнюю фразу и вдруг подумал, что она попала сюда из других времен — из далеких и леденящих душу тридцатых годов. В темном коридоре коммунальной квартиры на улице Рубинштейна, — в старом фонде, как мы теперь говорим, когда уже вплоть до Сестрорецка тянутся тонкостенные новостройки, а тогда ничего подобного не было, и бесцветные, аж до самой кирпичной толщи пообсыпавшиеся, стояли они, эти ленинградские дома (разве тогда за ними следили?) — в такой вот квартире раздается тяжелый телефонный звонок. Его жене сообщили, что за ним послан автомобиль — не "Волга", не "Чайка", не "Победа" (даже

подкатит к дому, а "послан автомобиль". Автомобиль вообще, и в нем Шофер, как положено, в кожаной фуражке. И выходит Мирон Полякин — во фраке, в туго накрахмаленной манишке, со старым циммермановским фуляром в руке. Минуя соседский сатин и спецовки, он отправляется на концерт для участников Третьего Коминтерна.

Появился Феликс, уже при параде. Можно было надевать пальто и спускаться. Но я не позволю ему надеть пальто, прежде чем не скажу пару слов о его наряде. Я не буду многословен — что толку распинаться и говорить, что на нем был сильно приталенный (о стройный юноша) темно-синий смокинг из какой-то удивительной ткани, а вместо бабочки, как у Алеши Поповича (пардон), словно каскад, из горла по груди струилось и пенилось жабо и т.д. и т.д. Что толку в подобной описательности, когда пройдет два года, мода переменится, а вместе с ней и наше представление о "добре и зле", и Феликс облачится в мешковину. Лучше я скажу общо: и сегодняшнему его костюму и мешковине, в которой он предстанет в недалеком будущем перед рогатой, хвостатой, аплодирующей копытами аудиторией, не достанет лишь маленького кортика сбоку.

Я мысленно простился с квартирой, которую, по всей видимости, никогда больше не увижу, и мы вышли. Машина, приехавшая за нами, была ни больше, ни меньше, как "Чайка", что мгновенно исполнило меня чувством собственного достоинства в глазах пешеходов всего мира. Что, нельзя? Безграмотно? Ничего, так мне и надо, ведь это низменное чувство. Шофер — жуликоватый малый, весь в нейлоне, стриженный бобриком, сильно походил на фарцовщика с угла Невского и Бродского. Как я был, однако, прав, говоря несколькими строчками выше, что мода может перемениться, образ и тип человека может переродиться, перейти в свою противоположность, но дух — дух пребывает во веки. Насколько далек этот нейлоновый водитель "Чайки" с заграничным брелоком на ключе зажигания от сурового кожаного Шофера и его Автомобиля. А все же, как на известном плакате, где на чеканящего шаг космонавта (олицетворение всего,

к чему мы пришли), взирает, словно с небес, питерский красногвардеец с алым бантом, как на нем, оба шофера своей символической преемственностью могли вызвать в сентиментальном горле сладкую спазму. Или же смертельную тоску в честном сердце по причине неискоренимости зла на земле.

Мы ехали, ехали и приехали. Дом помещался в глубине сада — темного зимнего сада с прекрасно утрамбованными дорожками, чей вечерний морозный блеск скрипел под ногами так, словно никакой оттепели, никакой весны в городе и в помине не было. Подъезд стерегли два льва, укрощенные двумя столетиями раньше неведомым итальянским дрессировщиком. Феликс уверенно вошел внутрь, причем опередил нас с Новицким настолько, что, когда мы вновь отворили тяжелую дверь, успевшую, несмотря на всю свою массивность, закрыться, его уже и след простыл. Дорогу нам преградил военный. Теперь-то я понимаю, почему Феликс прошел первым, этакой важной птицей, чтобы всякие унизительные мелочи, а такой "унизительной мелочью" в данном случае являлся я, свалить на плечи бедного Алешки. Тут я его впервые пожалел — все-таки тяжелая у него была жизнь. Машинально я посмотрел на носы своих ботинок. Нет, с ними все было в порядке, не с этих носов не спускал военный своего скептического взгляда, покуда Новицкий объяснял ему, что я — также участник концерта, хотя и не такой заметный, но весьма желательный. Увы, как это ни печально, военный ничего не может поделать. По его лицу я вижу, что никакой печали он вовсе не испытывает, а скорей даже внутреннее удовлетворение. Причем даже не говорит: "Не могу впустить" — верно, оттого, что вздохни я, и скажи: "Ну, нет так нет" и откланяйся, он бы меня навряд ли теперь и выпустил. А ведь надо еще войти в положение Новицкого. Ему и упрашивать как-то не положено. Неожиданно в разговор вступило новое лицо — плотный человек в сером костюме, совсем не старый, но уже седой. Откуда он взялся, ума не приложу, но факт остается фактом. Когда мы пришли, его не было, а сейчас он стоял и говорил, да так, словно все это время здесь присутствовал.

— Алексей Григорьевич, разве можно так, я даже не понимаю, как вы себе это мыслили (он обращается к Алеше, а кажется, что ко мне, и все из-за моей физиономии, которая, безусловно, обладает лестной для меня способностью приковывать к себе взоры, вот сперва военного, затем этого, а раньше — Алешин, едва я только появился, и реакция у всех внешне до смешного одинаковая, такая, словно они меня видят, а я их нет). "Ведь если вам нужно, — продолжает седой в штатском, — перевернуть ноты, то вы бы сказали об этом заранее, и мы, уж поверьте, также сумели бы подыскать вам кого-нибудь вполне компетентного по этой части". Алеша пытается что-то сказать насчет Феликса, который, дескать, сам меня привел, но ему сразу отрезают, причем зло: "Знаете, Алексей Григорьевич (взгляд, злой-презлой, меня впервые отпустил и посмотрел на Новицкого), мы не в яслях. Феликс Петрович — это Феликс Петрович, а вы — это вы, понятно?" (и опять на меня, — кажется, в моем лице Феликс не "унизительные мелочи", а хорошую свинью подложил Алеше). Алеша: "Ну, в конце концов, я сам переверну". Человек качает головой: "Нет, все должно быть наилучшим образом (и вздыхает), даже не знаю, как быть (смотрит на часы), придется как-то пропуск вам оформлять (теперь начинает ломать комедию для меня — это я понимаю). Это очень все сложно... Но попробуем... Ваша фамилия? Отчество? Место работы? Домашний адрес? Так, хорошо (все записал). Теперь ваш паспорт (паспорта у меня нет с собой). Удостоверение учительское? (тоже нет)".

— Ну что-нибудь! — в сердцах восклицает он. Я роюсь в карманах и извлекаю всякий мусор: какие-то нитки, рванный рубль (есть у меня такая манера: когда я сижу в кино, рвать бумажки в карманах).

— Трамвайная карточка подойдет?

— Да валяй уж.

Он берет ее и начинает тщательно изучать. "Придется подождать". Он уходит, и я понимаю, каким образом он здесь появился, никогда бы в жизни не подумал, что там может быть дверь. Через десять минут нам разрешают пройти.

Феликс, когда мы вошли в артистическую гостиную, встретил нас иезуитской улыбочкой: "Ну что же вы, ребятки, так долго?" Да, я полагаю, что он все предвидел и умышленно пошел на это, мстя, вероятно, своему аккомпаниатору за что-то.

Фриц Крейслер когда-то тоже поругался с аккомпаниатором и решил его проучить. В тот день они играли "Испанскую симфонию" Лало. Пианист начинает пятую часть, в которой солист, как известно, вступает после довольно оригинальной фортепианной интродукции — семи совершенно одинаковых танцевальных фигур: папа-папапа-па папа-папапа (раз), папа-папапа-папапа-папапа (два) — так семь раз. И что же? Крейслер не вступает, пианист продолжает играть, не останавливаясь же в концерте. В десятый, в одиннадцатый, в двенадцатый раз повторяет он, как заезженная пластинка, одно и то же (а Крейслер стоит как ни в чем не бывало). Лишь на пятидесятый раз соблаговолил он вступить. Так мстили своим аккомпаниаторам в начале века, теперь это делают иначе. Однако далеко не все изменилось с тех времен. Много, в особенности из области души народной, осталось таким же, как и при царе Горохе. Например, исконная наша застенчивость: некогда Борису Годунову неловко было занять престол сразу, и он долго отказывался от него, этот скромник. Теперь другой русский скромник перед самым нашим выходом вдруг подбежал ко мне и со словами: "Пиджачок позвольте почистить", — проехался по мне ладонями от подмышек и до бедер, но приличия ради все же разок коснулся щеткой моих лопаток. "Пожалуйста", — проговорил чей-то голос, и мы по всем правилам, гуськом, а не как три мушкетера — под руки, двинулись на эстраду — солист, концертмейстер и переворачиватель нот. Феликс только успел мне бросить: "Смотри, не ослепни".

В маленьком зале в белых с голубой обивкой креслах сидит человек десять, и словно зал — зеркальный: по небесно-голубым стенам и потолку летают ангелочки с белыми крылышками. В центре, как некий каменный куб с обрубленными углами (как? мощный дуб с отрубленными ветвями?),

в центре, блестя очками, и не мертвый, и не живой (не следует только понимать в значении "ни жив ни мертв"), восседает... ну кто восседает, а? Да. И не то важно, какая власть сосредоточена в этих руках; а другое, что чувствуешь ее, власть, лишь когда противостояшь ей внутренне, а эту чувствуют на себе решительно все, все живое, и тогда начинаешь спрашивать себя: — Что же это, неужто, как в песне "А врагов у нас пуще волоса, что растет в бровях царя-батюшки".

Подле него примостился Жорж Марше — какой русский не знает этого имени (слышу, как переводчик говорит: — Felix Егорофф-камсикамсикамсакамсикамсакамсикамса — я ведь французского не знаю — et Алексис Навицки, и несколько жидких хлопков). Теперь все ясно: неофициальный визит в колыбель пролетарской революции, концерт, который дает знаменитый советский скрипач для высокого гостя, отсюда и соответствующая программа. Не знаю, оценил ли господин Марше самоотверженный труд тех, кто, несмотря на совершенное незнание предмета, все же нашел в себе силы отобрать на час с лишним скрипичной музыки по французским, столетней давности каталогам (о, как я их прекрасно понимаю: они боялись ненароком прихватить какого-нибудь декадента), но, во всяком случае, при звуках "Карманьолы" он заметно оживился. И тем не менее до конца даже он вряд ли сумел постичь всю идейную тонкость проделанной референтами работы. Сальватор Даниэль, директор Парижской консерватории, переложивший "Карманьолу" для скрипки, пал на баррикадах, сражаясь за дело Коммуны. Когда мы кончили, я еще раз глянул в зал. Там не было ни одной женщины. Значит, отметил я про себя, мальчишника им не миновать.

"Чайка", доставившая нас сюда, стояла наготове, но Феликс изъявил желание — до поезда оставалось каких-нибудь три часа — прогуляться со мной по городу. Алеша взял у него скрипку и уехал собирать вещи. Привет сестричке!

Братья остались вдвоем, и тогда младший сказал: "Все это мерзко и отвратительно, Феликс. Не искусству своему ты обязан славою, но тем, что поставил его на службу демонам; их возвеличиваешь ты в глазах мира, и за это платят они

тебе звонкой монетою". И что же, понутив голову, старший брат тихо отвечает: "Да, я знаю это, но сейчас поздно". — "Нет, никогда не бывает поздно, отступись от них, отрекись от себя ради себя же самого. Ты понимаешь меня?" — "Да, я понимаю, но поймут ли меня?"

Это было великолепно. Мы шли по Фонтанке, две одинокие фигурки, и темнота, окружавшая нас, произвела удивительную метаморфозу: шут и юродивый поменялись ролями, и уж последний дурачился как мог. Феликс никогда не понимал шуток, по крайней мере, моих. Когда я говорил серьезно, он высмеивал меня, но когда, в кои веки раз, я валял дурака, он вдруг строил печальную мину и сокрушенно вздыхал. На каждую мою гримасничающую фразу, завершавшуюся проникновенным: "ты понимаешь?", он смиренно отвечал: "да, понимаю" и еще иногда добавлял: "но поймут ли другие?" или "но поймут ли меня?" в зависимости от смысла сказанного. "А разве не ужасно, что ты пользуешься привилегиями, которые тебе предоставляют демоны, едешь в закрытые санатории, садишься, как сегодня, под охраной всем ненавистного милиционера без очереди в такси? Быть может, там, на стоянке, находились люди, опаздывавшие на поезд и кусавшие себе губы в отчаянии; быть может, старушка мать, соседка той, что напрасно ждет сына домой, торопилась на свидание со своим сыном — ты понимаешь, что это за свидание? ("Да, но понимают ли другие?") Какой жгучий стыд должен охватывать тебя, потому что, если взглянуть на все в глобальном масштабе, твоя деятельность уже давно клеймена человечеством. Тебя не страшит приговор истории, вынесенный Элизабет Шварцкопф и Куленкапфу?" Он кивнул. Его это очень страшило. Мы вышли на ярко освещенную главную магистраль (не признаваясь в этом друг другу, как не признаются в слабостях, мы оба сознательно шли в ее сторону), и тут все стало на свои места — свет обладает, как известно, способностью развеивать пустые страхи.

По Невскому, в основном по левой его стороне, брел разный люд. Он двигался довольно организованно — для тех, кто был ближе к стенке, ориентиром служило Адмиралтейство,

для тех же, кто шел по краю тротуара — Московский вокзал; только у гастрономов деклассированный элемент препятствовал этому образцовому скольжению пешеходов, вклиниваясь в их миролюбивые ряды, словно кочевые племена в исконно русские земли. Но хотя стариков и женщин они не убивали, все же в плен иногда кое-кого им удавалось увести (да там и обратить в свою веру). И вот, глядишь, то в одном месте неузнанный сын нападет на отца, то в другом — дочь на мать.

Иногда какого-нибудь уж очень пьяненького субъекта с окровавленной физиономией двое милиционеров под белые руки ведут в отделение, и тому нечего на это возразить. Толпа с уважением расступается перед ними.

Я думаю, что всех мужчин на Невском, если судить по их лицам, снедает Онанов комплекс. Вот идут они, глубоко запустив руки в карманы, в то время как женщины смотрят на них злыми глазами. Я думаю также, что власти этого совсем не одобряют. Рождаемость за последние годы значительно сократилась, но отдельные здоровые организмы все же находят путь друг к другу. Это они составляют маленькие, но упрямые очередники пред наглухо закрытыми дверями кафе. Беспокойный же клан жаждущих лишнего билетика у входов в кинотеатры представлен городскими сухоточными; им не терпится насладиться чужой любовью. В укромных, только им одним известных местах встречаются содомские греховодники — сплошь из бывших лагерников. Почему? (Ах, — смеюсь я мифистофельским смехом, — вы думаете, я сейчас объясню, почему сплошь из бывших лагерников?) Почему все так неприглядно и зло? Потому что Невский — это большая помойная яма, клоака, по которой текут нечистоты. Потому что я люблю мой Невский проспект и мне больно думать, что он мог стать совсем другим и не стал.

Феликс спросил меня, не хочу ли я зайти куда-нибудь поужинать. Я знал, что стоит ему только щелкнуть пальцами, как двери любого заведения перед нами распахнутся, и нас на глазах у замерзающей толпы почтительно впустят внутрь. Знал и то, что нас подведут к специальному столику "инту-

рист" и на Феликсе будет исключительный смокинг в талию. И, наконец, знал, что одна пара глаз, принадлежащих особе в зеленом пальто, будет неотступно следить за мной, а ее спутнику придется мучительно разрешать для себя вопрос, откуда же взялось выражение раскаяния на ее лице. И все же я отказался. "Мне стыдно", — сказал я, намекая на нашу недавнюю беседу, но Феликсу, уже вновь переродившемуся, вряд ли пришлось по душе такие слова. Два шута рядом — это уже слишком.

Мы пошли дальше. Феликс рассказывал мне о различных заморских странах. В запасе у него имелось множество подобных историй, которыми он пользовался для поддержания бесед с людьми моей категории. Причем говорил он с таким небрежным любованием, словно сам к этой же категории принадлежал. Какой-нибудь инженер, по профсоюзной путевке совершивший вместе со стадом бизонов круиз вокруг Европы, впоследствии рассказывает своим знакомым то же самое: — "Вошли мы, значит, в Марсель, а французы, как известно, народ темпераментный, увидели нас и давай кричать: па-адхады, дорогой, колготки домой по сходной цене привезешь жене".

Я слушал Феликса и думал, что, наверно, никогда не бываю за границей (как оказалось, я ошибся, но это уже сильно выходит за пределы нашего рассказа). Когда Феликс иссяк и, как я полагаю, раскаялся, что не укатил в "Чайке" вместе с Алешей, а остался гулять с дуралеем-братцем, если только на то не было особых причин, я предложил ему чудесную тему — школу. Она возникла перед нами, словно перед погибающими в бескрайней снежной степи путниками видение лета, райского сада, отмеченного чертами родных мест, воспоминания о которых уносят не только в иные пределы, но и в иные времена, и куда теперь они входят держась за руки. Быть может, это чересчур сильно звучит в данной ситуации, но я слишком неравнодушен к прошлому, и если это не достаточное оправдание, то добавлю — к чужому еще больше, чем к своему. Вот, шлепая по синим лужам к зданию школы — и по сей день стоит она, но как бы иным солнцем

освещена она в моей памяти — бежит одиннадцатилетний Феликс, зажав под мышкой скрученный в трубку лист бумаги — для стенгазеты своего класса, в моих глазах — класса небожителей. На мой почтительно-восторженный поклон он, пятиклассник, отвечает каким-то божественным жаргонным словечком.

Но Феликса эта столь дорогая моему сердцу картинка мало тронула, хотя он и являлся в ней главным действующим лицом, как, впрочем, и во всех фильмах-воспоминаниях, которые я готов был ему прокрутить. Куда сильнее на него подействовал эпизод с Синкопой (имячко, данное музыкально одаренными детьми хромой учительнице), эпизод, когда то им самим рассказанный и мною лишь возвращенный теперь, спустя много лет. У Синкопы была привычка снимать под столом туфли, за которую она, в конце концов, поплатилась немалым конфузом. Однажды посаженный за первую парту в наказание за что-то (он был далеко не ангелом) Феликс утягал ее — я воображаю себе эту советскую туфлю 54 года. Сперва тихонько придвинул к себе ногой, благо первая парта вплотную примыкала к столу, а затем засунул в портфель. Учительница шарит под столом, шарит... Я так и вижу все это: ужасная нога с выпирающей косточкой в фильдекосовом чулке, словно ослепшее доисторическое животное, движется наощупь, а на губах — беспокойная улыбка сбившейся с пути девушки. Правда, я знаю, что Феликс мне тогда солгал, он забыл, что мы вместе с ним слышали эту историю (примерно за год до того, как он рассказал мне ее вторично) от одного Бовы-богатыря с усиками, который и Феликса был намного старше, а для меня являлся, наверно, тем же, чем для свифтовского лиллипута великан из второй книги путешествий, минуя промежуточную инстанцию — Гулливера Феликса. По словам Бовы, он проделал это с царевичем Алексеем — старухой-историчкой, героиней многих школьных легенд, которую ни я, ни Феликс уже не застали. Но сейчас, в свете своего некоторого жизненного опыта, я не исключаю, что и Бова слышал этот рассказ от кого-то — где ты теперь, Бова? Разу-

меется, я возвращал Феликсу историю с туфлей без комментариев. А затем я развернул перед ним целую галерею образов: наши учителя от выпускного класса и по первый. Картинки становились одна другой меньше, так как по этой выставочной галерее не расхаживают, а только, стоя на месте, вглядываются в ее отдаленнейший конец, насколько хватает зрения. Причем, как хороший живописец, я ухитрился даже здесь польстить своему заказчику: на каждой картинке эти учителя вызвали, хвалили, бранили исключительно его одного. Но и это не все. Вот поезд из одиннадцати школьных вагончиков прибыл на нашу самую первую станцию. Мы сошли, а вагончики остались в тупичке — станция Днепропетровск. Улицы, домишки, утопающие в зелени, и кто знает, куда бы мы еще забрели, если б другой натуральный поезд не ждал уже Феликса. Точнее говоря, даже не он ждал, его еще не подали, гуляючи мы пришли чуточку раньше, а Слава Бендорский. Он стоял на безлюдном перроне и, мотая головой в разные стороны, глядел на толпу, снующую в некотором отдалении. Как обычно и бывает в таких случаях, он наткнулся ищущими глазами на кого угодно — на бабу Ягушку с девочкой, верно украденной ею из детдома, на деду в валенках и галошах, несостоявшегося Ягушкиного жениха, на веселый куст парнедевок, растения непарникового, называемого "робятами", на баобаб из пяти негров, ожидающих того же поезда, что и мы, — никого не упустил, а нас не заметил. Я уже хотел было окликнуть его, но Феликс жестом Вергилия остановил меня, и впрямь ("и впрямь", ибо такое не каждый день увидишь): Бендора собрался в путь с рюкзаком за спиной, в такой же рюкзак (иного названия для этого чехла я подобрать не могу) была помещена его виолончель, а голову украшала добротная, точная копия той, что носил президент Бенеш, велюровая шляпа.

"Фелька, Егоров!" — вдруг раздалось по всем одиннадцати перронам Московского вокзала — Бендора заметил нас и решил как-то оповестить о себе. Мы подошли. У Бендоры зуб на зуб не попадал. Оказалось, что он стоит здесь полтора часа. "Почему не с утра? — спросил Феликс, — и вообще, где лапти,

уж если ты решил прибыть в Париж не иначе, как ходяком?" Но Бендорский, блаженно улыбаясь, только шептал: "Ох, братушки, ох, родненькие, в Париж, в Париж".

С двух сторон к нам подкатили. С одной стороны поезд, с другой — тачка с чемоданами, которую толкал носильщик под командованием Алеши: "Знакомьтесь", — приказал Феликс. И Алеша со Славой послушно пожали друг другу руки. "А теперь — вперед!" — это уже говорю я себе и вам, потому что сейчас состоится изумительно радостное, а для меня даже волшебное шествие. Впереди, словно молодожены, — Феликс и Бендора, за ними я — маленький северный Гименей, за мною следом наглядным пособием к исторической брошюре "Рабский труд английских шахтеров" катит свою вагонетку недавний раб, а ныне свободный носильщик и в заключение Алеша Новицкий — дрожи, избравший светочем жизни поговорку: "Что с возу упало, то пропало". Так завершился этот необыкновенный день.

Я еще постоял у окна, посмотрел, как они устраиваются в купе, — Бендора долго не мог снять рюкзак со спины, затем помахал им рукой и, как говорится, пошел себе... Хотя и неудачливый, но все же музыкант, я могу сказать, что этот день имел зеркальную репризу. Вокзал, трамвайная остановка, где, как ни парадоксально, спин больше, чем лиц, тернистый, сплошь из зигзагов путь вагона, о котором маленькая девочка сказала: "Такой большой, а одноглазый, как мотоцикл", контуры еще одного вокзала, так раздражавшего меня утром, а ведь он освящен — это на его ступеньках пятьдесят восемь лет назад Бог принял душу великого русского поэта — и, наконец, моя быстронагревающаяся постель. Круг замкнулся? Нет, купол сомкнулся над моей головой. Этот день в своей герметической закругленности был, как мячик, и внутри помещался я. Чтобы не задохнуться, я схватился за заветные листы и принялся их перечитывать. Через них к поверхности пролегла спасительная тропа. "Ишаягу" — гордо назывался мой последний, не заверченный еще рассказ, походивший, впрочем, на символическую мистерию, сценарий, по которому ставят сны.

Перрон (опять он) одинокий, загадочный, точно мост через бездну. Не видно ни вокзала, ни вагонов, все скрывают густые облака. Даже по самому перрону стелется пар, и ноги ступающих по нему окутаны белым. Эти люди расхаживают по двое, по трое. Вокруг маститого вида личностей образуются группы. В центре одной из них — седобородый старец, борода облачком пара легла на черный сюртук. Старик недоволен чем-то, и стоящие рядом в благоговении внимают его ворчанию. Лишь немногие при этом позволяют себе роскошь выражать свое полное согласие, обращаясь к нему непосредственно, остальные довольствуются тем, что обмениваются аналогичными замечаниями между собой. "По словам Льва Николаевича, этот невежда позволяет себе такое, словно он..." — безо всяких изменений, без каких бы то ни было вариаций повторяют они только что сказанное, как будто один из двоих ровно ничего не слышал или не понял.

Центральной фигурой другой расположившейся неподалеку группы является также старик — Анатолий Франс. Он возмущается подобно Толстому. Впрочем, оба мэтра делают вид, что не замечают друг друга. Вполне достаточно холодно-презрительных улыбок их приверженцев. Тень озабоченности и нетерпения лежит и на лицах прочих, находящихся на этом перроне. Только двое были безучастны ко всему происходящему — это напившийся и посему ничего не соображавший тип в казацкой косоворотке, чей лоб своей катастрофической высотой наводил на мысль о кривом зеркале, да носивший по перрону носильщик (Иосиф Уткин), почитавший за великое счастье, что вообще попал сюда, даже в таком качестве, ему ли еще на что-то жаловаться.

Толстой посмотрел на часы и нервно затеребил борт сюртука. "Нет, господа, это уже слишком, большее хамство трудно себе даже вообразить. Мы все в сборе. Поезд ждет (при этих словах облако чуть-чуть рассеялось и стали видны два или три пультмановских вагона, да еще обрисовался силуэт какой-то горы), а этот Ишаягу, видите ли, изволит опаздывать. И из-за него все вынуждены теперь терять здесь золотое время, вместо того чтобы уже давно ехать (тем вре-

менем небосклон прояснился еще более), да и вообще, какое отношение к нам может иметь неграмотный дикий человек..." Вдруг Иосиф Уткин вскрикнул: "Ой! Что это?", — и в ужасе закрыл лицо руками. И тут уж все ахнули. Гигантская гора обладала человеческим лицом, плечами, от одного из которых прямо к ним простиралась рука. Она непомерно расширялась и неожиданно исчезала из поля зрения, как бы растекаясь по всему горизонту. Все опустили глаза: на ладони его находились и они сами, и перрон, и поезд, и все-все, что только мог охватить их взор. Выходит, напрасно они ругали Ишаягу — все это время он был здесь, с ними.

Наутро, в шесть часов опять звонок в дверь. Неужели Феликс на полпути решил вернуться назад и пересел во встречный поезд? Подбрасывая тапки со стоптанными задниками как заправский футболист и зияя дырками, я бегу открывать. Та же девушка, что и вчера, протягивает заказное письмо. Вместо обратного адреса — печать. Вскрыв конверт, я обнаруживаю в нем свою трамвайную карточку.

Декабрь 1973.

**Моему умершему мастеру Аркадию Р.
завода Дух. Муз. инструментов.**

Владимир АЛЕКСЕЕВ

СМЕРТЬ НА ЗАВОДЕ

Осень была дождливая, шли дожди, и поэтому было много грибов. На базаре грибы продавали кучками и корзинами. Но, странное дело, хотя грибов было много, они не дешевели.

На заводе говорили, что много грибов — это к войне. Еще женщины говорили, что мужики стали много пить — это тоже к войне, вспоминали, так было перед самой войной. Участились смертные случаи.

Утром, перед началом смены, к Аркадию Рулькову подошел Борис Репутин.

— Ты слышал, Аркадий, Уткин умер?

— Ну?

— Вот те ну? Пришел с работы, лег и умер. Хозяйка говорит: соскочил с кровати, умираю, говорит, конец, а сам плачет... А потом стал прыгать скачками по комнате... Видно, хотел выпрыгнуть, а не удалось...

— Да, — мрачно сказал Рульков. — Вот и этот умер. Строил, строил дачу, водку не пил, а все равно умер: "лучше бы я, говорит, водку бы пил, если бы я знал, что так рано умру..."

У слесаря Уткина был рак крови. О болезни он знал и знал, что скоро умрет.

За месяц до смерти он вышел на работу.

— Надоело, — говорил он. — Уже год на бюллетене, а что толку — все равно сдохну. Я на этом свете не жилец.

Он сильно похудел, штаны висели на ягодицах, особенно похудели и удлиннились руки, на которых выступили пигментные пятна, как у стариков.

— Посмотри, какая рука, — с мучительным удовольствием говорил он, показывая руку то одному рабочему, то другому, которые с какой-то закономерностью постоянно вились вокруг него. — Это еще что, — смеялся он с нехорошим блеском в глазах. — Я в последний месяц пять дырочек на ремне проколол.

Была еще закономерность, разговаривали с ним тихо, стараясь не смотреть ему в глаза; начальство обходило его стороной, здоровалось издали.

А он рассуждал с мрачной злостью, которой раньше не было:

— Я ждал, ждал, что в жизни что-нибудь изменится, что-нибудь произойдет, чтобы лучше было... Вот и дождался... Херня — ничего не происходит, кроме смерти. А от смерти не уйти, все подохнут. Вон Степан, думал ли он, что под автобус попадет, а вон попал...

И с тем же мучительным удовольствием он считал, загибая пальцы, сколько в этом году умерло на заводе:

— Федька Егоров из сборочного — раз: тоже говорил, "Я тебя, Уткин, переживу, я на твоей могиле, Уткин, еще прощальную речь скажу"; Степан — два: "Давай, говорит, Уткин, по рублику", — хорошо я отказался, а то до сих пор бы чувствовал себя виноватым; директор — три, — хоть ты и директор, а все человек, смерть не разбирает, партийный ты или беспартийный, умер, похоронили, зарыли, забили, а там и поминай, как знаешь; потом этот пацан из револьверного, черт его дернул пить на футбольном поле, гол забил, а сам в ящик сыграл — четыре (тут Уткин зло засмеялся), а пятый буду я...

Работать, как прежде он работал, он не хотел или не мог, и то и дело ходил в конторку к мастеру или к нормировщику и там долго спорил или ругался из-за того, что расценки из года в год срезают, заработать не дают — он знал, что его будут слушать, он заимел на это право — скоро умрет.

И вот умер. У него было много, по нашим временам, для города детей: две девочки и один мальчик.

Перед смертью о детях он говорил: "Ничего, проживут, я жил, и они проживут, с голоду не подохнут". При этом смеялся: "У нас так: и жить не дадут, и с голоду не подохнешь".

Он любил собирать грибы и в этот год насолил, засушил много на зиму.

"Сам-то я уж есть не буду, а все ребятишкам память обо мне останется".

Когда Репутин отошел, первой мыслью Рулькова было: "Вот умер Уткин, и все мы когда-нибудь умрем, никуда от смерти не денешься, один раньше — другой позже — такова жизнь, значит так и надо".

Он включил фрезерный станок и, привычно крутя ручку, двинул стол навстречу фрезе, фреза стала мягко есть сталь, а он кисточкой макал в банку с эмульсией, время от времени смазывая быстро нагревающуюся фрезу.

По утрам он иногда любил работать, особенно тогда, когда высыпался.

Он любил запах горячего металла, запах паров эмульсии, этот запах напоминал ему какой-то далекий и давно уже забытый запах деревенского детства: "Дорога, телега, колеса в присохшей грязи, пахнет дегтем, а вокруг поля, на тысячи километров одни поля. Вон на поле сидит галка, услышала скрип телеги, пробежала по полю, взлетела, и снова одни поля, от которых начинает рябить в глазах и сладко хочется спать".

До войны, когда он уезжал учиться в ФЗУ, мать завернула в полотенце десяток сваренных вкрутую яиц, хлеб, сто рублей денег, а соли и забыла положить, вот поэтому, наверно, жизнь его и не удалась.

И теперь, стоя у станка, он вспоминал всю свою жизнь до пятидесяти лет, и стало ему грустно и горько. Что интересно-го он видел в жизни? Для чего живет? Для куска хлеба? Для работы — ради этого куска? Да, только для работы, а после работы что? Отдых, телевизор, домашние заботы и все. А ведь раньше ему казалось, что он как-то правильно живет, что так и надо жить и что так и все живут. И вот вдруг он понял, что не так он жил, что надо было не так жить и что в этом, конечно, виноват и он, как и виновато время, и то, что испокон веков было и будет: кусок хлеба. А теперь что? Теперь ничего не осталось — только бы дотянуть до пенсии, дотянуть девчонок, а там можно и умирать. А тянуть еще порядочно — старшей четырнадцать, а младшей десять...

Подошел мастер Павел Семенович, положил матрицу с чертежом и нарядом на рабочий столик.

Незаметно, мельком взглянул на наряд и расценки, а потом уже — на мастера, на его худощавую, старчески сухую фигуру.

"Ведь уже на пенсии, а все работает. Тоже деньги нужны. И будет работать, пока не вынесут с завода вперед ногами? А для чего работать?.."

Мастер постоял, посмотрел на фрезу, как она вертится, посмотрел на деталь, зажатую в тисках, зачем-то сдунул с нее металлическую пыль, вздохнул и проговорил: "Да, вот уже зима, а я и не заметил, как она пришла, время летит так быстро, время..." А потом спросил:

— Аркадий, ты слышал, Уткин умер.

— Слышал, — сказал Рульков, но станок не выключил, а продолжал работать.

Гул работающих станков, звук вентилятора, скрежет и вой металла:

— Ты когда на рыбалку поедешь? — спросил мастер и почему-то посмотрел в окно: "Да, время, время — вот Уткин умер".

— В воскресенье.

— Куда?

— Под Лугу.

Выключил станок, встал перед мастером, чтобы продолжить разговор.

— Не слышал по радио, сколько градусов? — спросил мастер и снова почему-то посмотрел в окно на то седое, дымное, большое, что называлось ленинградским зимним утром.

— С утра передавали — двадцать восемь.

— Да, зима, зима, — проговорил мастер, как-то равнодушно и задумчиво. — Зима в этом году завернула. В такой мороз и мертвому не сладко в земле лежать.

— Все равно, — мрачно сказал Рульков.

— Это ясно, что все равно, — сказал мастер. — А все как-то не то, все кажется, что и после смерти что-то будешь чувствовать...

Постояли, помолчали, мастер пошел по своим делам, а Рульков снова включил станок, снова закрутил ручку стола, направляя деталь к фрезе.

И опять грустные думы о своей жизни:

Кажется, денег они вдвоем с женой зарабатывают порядочно, а все денег не хватает. Вот — жена, вечно она сидит и пишет за столом: она работает судебным исполнителем, взыскивает с разведенных алименты, а с пьяниц штрафы, тоже сволочная работа и тоже план... везде план...

Всю жизнь он думал, как бы сделать так, чтобы жена не работала, чтобы только занималась воспитанием детей, а не удалось, как думалось...

А дети: на всю жизнь он запомнил зимние утра и плач старшей, когда ее, трехмесячную, уносили в ясли, с плачем уходила, с плачем возвращалась, в яслях на восемнадцать человек одна нянька, часами лежат мокрые, закричит один — подхватят другие...

А что он мог сделать для жены — ничего, вот и прошла ее молодость в работе, да не в такой, как он: восемь часов отработал и газету в руки, а и по дому, и по хозяйству, и в магазин сходить, и постирать, и обед сварить.

Он помнит, как все это началось. После войны он вернулся, звеня орденами и медалями в Ленинград. Общежитие, где он

был прописан, сгорело, документы в архиве пропали, вот и пришлось ему идти в дворники, чтобы получить жилплощадь, а потом привел молодую жену на свое место, а сам пошел на завод: "Работай, Аркадий Рульков, строй будущую жизнь, она должна быть прекрасной".

Он, конечно, мог бы податься после войны в деревню, но от деревни он совсем уже отвык, да и в деревне было голодно, и молодежи там почти не осталось, а, может быть, и в самом деле лучше бы уехать в деревню, кто знает, может быть, там было бы все по-другому...

Десять лет, десять долгих лет жена работала дворником — убирала снег, мыла лестницу, так незаметно, в дворницкой одежде прошла ее молодость, а ради чего? Ради крыши над головой, да все того же куска хлеба. А кто виноват? Кто? Уж, конечно, не он, Аркадий Рульков.

Но кому это дорого, кто, кроме него, это все поймет, разве жена, дети, и те не поймут, когда вырастут, потому что в душу другому не влезешь, даже если это твой ребенок, да и жизнь их будет полегче и побогаче, да разве здесь только в богатстве дело...

Вдруг раздался легкий хрупкий треск металла, моментально выключил станок, остановил вращение фрезы...

Сломалась фреза. "Эх, жалко, была новая" — и он подумал, что он сегодня, наверно, не работник.

И все-таки в ящике стола, где у него был набор фрез, он поискал другую фрезу такого же диаметра, но не нашел. Захватив сломанную на обмен, он пошел в инструментальную кладовую.

— Маша, — сказал он в окошечко кладовщице, — дай пару фрез.

Кинул кладовщице на стол фрезу.

— Это что, шестерка?

— Да, шестерка.

— Аркадий, ты про Уткина знаешь?

— Знаю. А что?

— Да вот собираем жене на похороны.

— По сколько? — защемило почему-то сердце, и он сразу

почувствовал вину перед Уткиным. "На рыбалку-то, видно, не придется поехать" — кроме того, отметил про себя.

— Кто сколько может. Вон Феклистов дал всего десять копеек.

Феклистов был заводской скряга, первый богач на заводе, "богаче директора".

— Сегодня спросила: "Феклистов, когда же ты машину купишь?"

"Машину-то, говорит, я бы, может быть, и купил, да бензин слишком дорого стоит. Вот так-то".

Скользнул взглядом по списку "от и до", кто сколько дал, больше рубля из рабочих никто, а так все по пятьдесят копеек, да кое-где и рубль...

Нашупал в кармане два рубля, свернутые вместе вчетверо, не вынимая, отделил один рубль от другого — тот, что был помягче, а следовательно, и постарее, и, не глядя на рубль, положил на список: "Вот, держи".

И пошел обратно на свое рабочее место. Он шел и опять чувствовал свою вину перед Уткиным, как будто он пожалел этот "несчастный рубль", и все ему казалось, все слышалось, что Уткин ему говорит: "Ну что, Рульков, рубля на меня жалко, а я думал, что ты человек... Ничего, еще не раз вспомнишь меня".

Вообще это чувство вины, даже и не к Уткину, а к кому-то неизвестному, и в первую очередь, к жене и детям, усилилось у него в последнее время, особенно с похмелья. А когда он пил, оно исчезало, и вроде бы становилось как-то легче...

И теперь, становясь к станку, он подумал о том, что хорошо бы выпить за помин души Уткина, ведь живой же человек умер.

После работы привезли на завод Уткина в красный уголок, собрали рабочих, открыли прощальное собрание.

Гроб поставили на стол, покрытый красным кумачом. Стол стоял на сцене, где в праздничные дни выступала заводская самодеятельность и даже иногда профессиональные артисты.

Красный уголок: стенные производственные газеты, портреты вождей, картина заводского художника под названием "Первая смена" — мальчики в униформе трудрезервистов у токарного станка.

А в толпе рабочих были слышны разговоры:

— Вчера умер, сегодня уже похороны...

— Говорят, он гроб сам себе заранее заказал...

— Такой молодой и умер...

— Да, вот живешь, живешь...

— Все там будем...

На стене у входа в красный уголок висела "молния" с фотопортретом Уткина, обведенным черной полосой, а внизу было написано: "Уткин Владимир Борисович (1925—1965)".

У гроба, где лежал Уткин, желтевший издали мертвым лицом, стояла заводская администрация с красными повязками на руках.

Первым говорил директор, который при жизни Уткина совсем его не знал, даже не пришлось директору ни разу позвать слесарю руку, а тут почему-то он выступал первым.

Директор был в некотором роде красивый мужчина, нравившийся заводской женской интеллигенции за всегдашнюю уверенность, а также за взгляд человека, который привык больше повелевать, чем размышлять.

— Товарищи, — сказал директор. — Умер наш дорогой товарищ слесарь Уткин. Он проработал на нашем заводе без малого двадцать лет, и все мы его знали как хорошего товарища и как хорошего семьянина. И сегодня мы провожаем в последний путь товарища Уткина.

Смерть, товарищи, безжалостна, она подчас забирает людей, которые нам особенно дороги. Вот такой смертью для нас явилась смерть Уткина. И, провожая в последний путь, мы хотим сказать: "Спи спокойно, наш дорогой товарищ, ты хорошо поработал, ты честно прожил свою жизнь, мир праху твоему, дорогой товарищ Уткин, спи спокойно".

В толпе, стоявшей в зале, стали слышны всхлипывания, а директор взглянул на покойника, что он, Уткин, ему скажет, доволен ли он его, директора, речью... Но Уткин молчал, и директор, как и положено, опустил взгляд долу...

После директора выступал начальник цеха, где работал Уткин, он говорил, что слесарь Уткин всегда перевыполнял план, был отзывчивый товарищ и хороший работник и так далее, и тому подобное, потом выступал главный инженер, и он, хотя и не знал Уткина, но тоже отозвался об Уткине, как о прекрасном человеке и слесаре, а за ним выступали: председатель месткома, секретарь профкома, главный бухгалтер, который сказал, что Уткин не успел получить премию, "но я думаю, мы выплатим ее его уважаемой супруге, которая находится здесь в зале вместе с нами", выступал и мастер, которому пришлось повторить в целом, что говорил директор, начальник цеха и главный инженер, но говорил он как-то не так, без их проникновенности и некоторой уверенности, а как-то так, словно бы не хотел говорить, а говорил...

В конце траурного собрания слово дали жене слесаря Уткина, маленькой женщине; она стала благодарить директора и "всех товарищей, весь коллектив завода" и на "слезах благодарности" она и кончила, действительно заплакав.

Тут заиграл оркестр, и все повалили к выходу, к гробу подошли рабочие механического цеха, в котором работал Уткин, подняли гроб и понесли вслед уходившей из красного уголка толпы...

Аркадий Рульков стоял в середине толпы, слушал, смотрел, как "все это происходило" и думал о том, что вот умри он, точно так же его будут хоронить, точно такие же речи будет говорить директор, начальник цеха, главный инженер и мастер, и ему было до того горько и обидно слушать все это, что он хотел крикнуть, довольно, мол, лгать, сколько можно, уж не первый раз вы лжете, ведь нет ничего подлее лжи перед смертью, но ничего не сказал, ничего не крикнул, а, опустив голову, пошел за выходящей толпой.

И опять, как и раньше в цеху, он почувствовал свою вину перед Уткиным, и опять он подумал, что надо выпить за помин души Уткина, потому что уж очень как-то щемит сердце, так щемит, что и самому жить не хочется.

Спускались по лестнице из красного уголка и опять слышались разговоры:

— Такой молодой и умер.

— Да, вот живешь, живешь...

— Все там будем...

Вышли во двор на снег, закурили, серые сумерки делали снег еще белее. И этот белый свет от снега лег на глаза выходящих.

К Рулькову подошел Борис Репутин, он улыбнулся и подмигнул Рулькову:

— Аркадий, я в последнее время замечаю, что ты сбляхнул с лица.

Рульков горько усмехнулся:

— Йоду в организме не хватает.

— Чего?

— Ничего. Давай, Борис, выпьем.

— Всегда пожалуйста, — засмеялся Репутин. — Вздрогнем со страшной силой.

Были сумерки, когда они вышли с завода на улицу. Седой туман поднимался над городом, вырываясь из ртов людей, из парадных домов, из автобусов и машин, особенно парили станции метро.

Деревья и кусты заиндевели, и при ртутном электрическом свете они были похожи на огромные пушистые опахала.

Из кафе, куда они вошли, тоже валил пар на улицу, пахло тушеной капустой, мокрым пюре и вареным гнилым луком. Народа было много. В пару, как в бане, все суетились, ходили, стояли, стучали ложками, звенели стаканами, тарелками.

У стоек стояли раздатчицы в белых засаленных передниках.

Взяли сардельки с капустой, это "все-таки мясо, можно и пожевать".

Чтобы взять стаканы, купили бутылку пива. Репутин сунул бутылку с водкой в рукав пальто и, оглядываясь по сторонам, стал наливать водку из рукава. Шапки лежали на мраморных столиках перед тарелкой.

Подняли стаканы, сдвинули, держа заскорузлыми негнущимися от работы и мороза пальцами. Мимо, делая вид, что ничего не замечает, прошел швейцар в старой куртке, когда

то обшитой золотом. За столиком рядом задержалась уборщица, она старательно вытирала столик. Они, швейцар и уборщица, охотились за бутылками.

Звякнули стаканы, водка была холодной, заломило зубы, но пошла хорошо... Быстрее корку хлеба к носу, выступили слезы на глазах и сразу потеплело на улице. Дверь скрипела и, когда кто-нибудь входил с мороза, он на мгновение пропадал в пару и был невидим.

Потеплело в груди, оттаяли глаза. Жадно стали есть.

Рульков достал из кармана папиросы и закурил.

Сразу подошла уборщица: "Гражданин, у нас не курят".

Отдал ей пустую бутылку. Удалилась, сунув бутылку под мышку.

— Вот я читал в газетах, — начал Рульков. — В Китае на стадионе устроили суд над студентами, которые ни в чем не виноваты... Их поставили на колени и расстреляли. И все это показывали по телевизору. Вот тогда я и подумал, а если у нас такое случится или еще что-нибудь подобное, пойдешь ли ты, Аркадий Рульков, за правду, как раньше за правду ходили... Нет, не пойдешь. А почему? — горько усмехнулся он. — А потому, что никто никому не верит, веры ни в ком нет, каждый только за себя думает...

— Аркадий, — сказал Репутин. — Это насчет веры ты верно сказал. А насчет хунвейбинов, так этого у нас никогда не было и не будет.

— Не было? — опять горько усмехнулся Рульков, и он продолжал высказывать свои, очевидно, не раз передуманные наедине мысли.

— Дело не в бедности, нет. Это я раньше думал, что, когда будет достаток, будешь доволен. Дело в другом. Дело в том, что изолгались все. Вот в чем дело. Ты посмотри, какой народ у нас стал. А кто виноват? Кто?

— Ах, — с отчаянием проговорил он, — иногда бы так заткнул уши и никуда не ходил: ни на работу, ни на улицу, сидел бы себе бирюком дома и ничего, кроме рыбалки, не надо.

— Это верно, Аркадий, — сказал Репутин, — рыбалка — это первое дело. Закинул удочку и жди, когда рыбка клюнет...

Жди и смотри. Надоело — "малька" раздави... Раздавил — хорошо, опять можешь ждать.

— Да, да, рыбалку, — проговорил Рульков и от выпитой водки почувствовал, что ему стало легче, как-то легче стало дышать, грудная клетка расширилась.

— Вот что я тебе скажу, Борис, — сказал он вдруг, голос его задрожал, сорвался, светлые слезы заставили его заморгать часто-часто, но он не стыдился их. — Вот что я тебе скажу. Человек все может вынести. Одного он не выносит — безверья... Там, — он показал пальцем себе в грудь, — там ничего нет — ни Бога, ни черта — вот поэтому ничего нет, кроме смерти...

— Смерть — она всегда смерть, — сказал Репутин и, подচিতив на тарелке хлебной корочкой остатки капусты, опустил эту корочку в рот, — я так думаю, Аркадий, смерть смертью, а не выпить ли нам еще.

Но Рульков в своих мыслях был от него уже далеко: наконец-то он понял, он осознал, что происходит вокруг, и то, что он — простой рабочий это понял, сделало его на мгновение счастливым.

Он вышел на морозную ночную улицу и, содрогнувшись от холода, с тоской подумал, что завтра надо снова с утра идти на работу: "Боже мой, как тяжело иногда по утрам вставать на работу, кажется, так бы лучше и умер".

Распрощавшись с Репутиным, он свернул с Невского на Владимирский и по Владимирскому заспешил домой.

Идя, он чувствовал приятную боль в сердце, и к этому чувству прибавилось ощущение, что что-то должно сейчас измениться, что-то должно произойти, ведь не может же "это" так долго продолжаться.

Но это изменение не наступило, этого изменения не произошло. И он, согнув свои плечи и подставив их идущему наискосок снегу, пошел, а впереди желтым изменчивым светом горел светофор.

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

«КОНТИНЕНТ» № 16

Содержание

Стихи современных украинских поэтов.

В переводах Игоря Качуровского,

Виктор Ворошильский — Венгерский дневник.

СТИХИ

Виолетта Иверни, Вадим Делоне, Лия Владимирова

Феликс Кандель - "Это не телефонный разговор..."

СТИХИ ПОЭТОВ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Валерий Перелешин, Игорь Чиннов

Владимир Максимов — "Ковчег для незваных" (глава из романа).

Генрих Саггир — Из книги "Сонеты на рубашках"

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Борис Парамонов — Мальчик против мужа

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Вацлав Белоградски — Литература как критика банального зла

Польский Аноним — Нация — религия — миссия — ответственность

ЗАПАД-ВОСТОК

Андрей Сахаров — Ядерная энергетика и свобода Запада

Энцо Беттица — Еврокоммунизм и Грамши

ИСТОКИ, ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА, ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, КОЛОНКА РЕДАКТОРА, КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ, КОРОТКО О КНИГАХ, ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Главный редактор журнала — **ВЛАДИМИР МАКСИМОВ**

Представитель в Израиле — **Михаил Агурский**. Рамот, 6/30, Иерусалим.

"Континент" выходит ежеквартально. Цена отдельного номера 12 ДМ, пересылка за счет заказчика. Годовая подписка 40 ДМ, включая пересылку.



A. Neimanis-Buchvertrieb

**Bauer Str. 28 — 8000 München 40
GERMANY**
Tél. 37-05-34

ПОЭЗИЯ

Олег ОХАПКИН

ТВОЯ ВО ТЬМЕ ЗАЩИТА...

НАШЕ ПОКОЛЕНЬЕ

Печально я гляжу на наше поколение.

М.Л.

Ну, что ж! И наше поколение
Глядит печально. Никому из нас
Уже не суждено украсить землю,
Какую нам отвоевали те,
Кто зачал эту скорбь на наших лицах.

Еще мне рано говорить о том,
Что мы отвоевали. Но, воюя,
Хотелось бы отдать себе отчет:
За что воюет это поколение
На этой отвоеванной земле?

— За счастье, говорят. — Ну, что ж! За счастье.
 Как видно, есть за что нам воевать,
 Когда отцы не все отвоевали.
 Но эту землю мы не предадим,
 Хоть многие из нас ее покинут.

Да. Покидать придется и ему —
 Другому поколению ее же —
 Вот эту отвоеванную им
 На эти тридцать лет родную землю.
 Имеется в виду в нее сойти.

Сойдем и мы. Но прежде нашу скорбь
 Мы принесем не столь веселью в жертву,
 Сколь радости, какая будет нам,
 Иначе вообще и нас не будет.
 Но мы-то знаем, что и мы уйдем.

И вот мы не украсим нашу землю
 Сошествием в нее. Я говорил.
 Но что-то есть и в нашем поколеньи,
 Что украшает родину. Наверно,
 И мы прекрасны, ибо мы прекрасны.

Но я прожить за эти тридцать лет
 Умел одни вот эти тридцать, тридцать,
 Да, наших лет, и говорю, что прожил
 Их с поколеньем. Что ж! Печальны мы.
 Но я уверен: мы узнаем счастье.

Так нам сказали. Это — наша цель.
 И вообще, мы отвоюем радость,
 Украденную много-много раньше,
 Еще тогда, когда рождались мы.
 И это будет найденное детство.

И вы, отцы, отечество свое
 Нам отдадите. Это будут тридцать
 Суровых лет, как все, что привело
 Нас к пониманью общей нашей цели.
 Повоевали вы. Воюем мы.

Но что придет на смену этой мощи,
 Стремящейся вернуть себе все то,
 Что отнято у ней - надежду мощи?
 И я отвечу, — вера и любовь,
 И мощь надежды — наше поколенье.

1974.

ПАМЯТИ ПОЭТА

Не спи, не спи, художник,
 Не предавайся сну!
 Ты вечности заложник
 У времени в плену.
 В. П.

Не спи, душа, упорствуй!
 Жизнь коротка.
 Твое противоборство —
 В ночи строка.

Твоя во тьме защита —
 Незримый свет.
 Жизнь тем и пламенита,
 Что смерти нет.

Жизнь тем и ужасает,
 Что ночь тиха,
 А мы не знаем сами
 Ее стиха.

Куда теченье речи
Уносит нас?
Ужели миг не вечен
Уже сейчас?

Не спи, душа! Мгновенье
Рождает все.
Не предавайся тленью!
Нас к вечности несет.

1975.

Александрю Кушнеру

За десять лет, измечтанных, глухих,
Моя судьба не солгала ни разу.
Я помню жестковатый легкий стих,
Прививший боль душе и точность глазу.

К поэту, наводившему мосты
Над пропастью Коцита, Мойки, Леты,
Фонтанки, Стикса, Крюковки и Мсты,
Над Временем и Мгой, над самой лютой

И тусклой безвременщиной, Невой,
Ижорой, Ахеронтом, Охтой, Лугой,
Над речью похороненной, живой,
Над речкой Черной, надо всей округой

Ингерманландской, зная, к мостовщику
Привел меня необратимый случай,
И то, что привелось мне на веку
Увидеть, стало бездною тягучей.

Зачем я заглянул туда с мостов,
Поставленных рукой неторопливой:
Здесь на быки, там на простой остов,
А кое-где на фермы кропотливо?

Зачем я отразился в серебре
Старинных струй, подцвеченных мазутом,
Среди дубов, построенных в каре
На сквозняке, по-летнему разутом?

За десять лет от юности моей
Остались отраженья лишь, да память
О тех мостах при свете фонарей,
К которым я судьбу успел добавить.

1975.

22 МАРТА 1975 ГОДА.

Мы были рождены в годину горя,
Но для великой радости. И вот
Уж тридцать лет надежда в нас живет,
С отчаяньем и скорбью тайно споря.

И если нам дарована была
На эти тридцать лет живая вера,
Мы выжили, и нам не солгала
Истории отпущенная мера.

Большой судьбой отмечены лишь те,
Кто на пиру судеб не стушевался.
Когда же горький кубок нам достался,
Мы приняли и долю в нищете.

Но жизнь идет. Стой! Кто идет? — Господь.
Что делать нам, рожденным в это время,
Когда животный страх перебороть
Уже нельзя, не заглянувши в темень?

Кто там во тьме, когда уже не тьма,
Скорей, рассвет, и сумерки так зыбки,
Что очертанья путника весьма
Расплывчаты и можно ждать ошибки?

Светает. Равноденствие. Весна.
Великий пост. В грядущем солнце всходит.
Стой! Кто идет?.. И видно по погоде:
Природа просыпается от сна.

Т. ФИЛАНОВСКАЯ

МОЙ ДОЖДЬ И Я

СОНЕТ

Любимый пишет женщине другой
О том, как он любил ее когда-то,
И осторожно бережной рукой
Забывшие перебирает даты.
Он не спешит. Он медлит над строкой.
Последнею полоскою заката,
Сгущением тумана за рекой
Уходит день, и нет ему возврата.
И с ним любовь уходит, словно сон.
Лишь сердце отзовется давней болью.
А время тихо катит колесо
По снежному нетоптаному полю.
Зачем любимый свой сжигает флот?
Кто кораблей не жег, тот не поймет!

А ты меня давно не ждешь
И не звонишь мне без причины.
По набережной бродит Дождь,
Серьезный, пасмурный мужчина.
И в сумерках его очки
Чужими окнами маячат.
Внизу осенний шум реки.
Еще светло.

Но вечер начат.
И мы идем,
вдвоем
с Дождем

На Острова,
туда, где осень.
Он резко ударяет оземь,
И листья светятся на нем.
А на проспекте ни души.
В сиянье фар лишь листья кружат.
Прошитые шипеньем шин,
Мой Дождь и я .

Татьяне Гнедич

Как сохранить мне Вашу похвалу?
Держу ее в руке, как гладиолус.
Я знаю, превращается в золу
Все то, что пело в нас,
и даже голос,

Не только дружба,
даже жизнь сама.
Как спрятать похвалу?
Не приложу ума.
Чтобы потом в ненастье или слякоте
Не зажигать огня,
не петь,
не плакать,
Не звать друзей и не искать тепла,
А встать,
очистить уголок стола,
Достать ее,
зажечь назло судьбе,
И вернуть уверенность в себе.

Что чувствуют подопытные звери
За полчаса до опыта в станке,
Там за стеклянной приоткрытой дверью,
Где я стою со скальпелем в руке?
Который год я вижу на столе
Кошачью вкрадчивость и кроличью покорность.
Что я ищу в доверчивом тепле
Их тел? Чужих гипотез вздорность
Иль оправданье соответственных идей?
Бывает, я стыжусь их, как людей,
И приходя домой, от злости плачу,
Когда не ладится и опыт неудачен.
И вечные я слышу голоса,
Непримиримость чувств — любви и долга.
Но преданность на мокрой морде пса,
Она меня преследует подолгу...
Над нами тоже кто-то ставит опыт,
Плодит гипотезы и цифры копит.

Теперь гляди внимательно наверх,
 В небесный глаз,
 безжалостный и синий.

Что может женщина в жестокий век.
 Который и мужчинам не осилить?
 Ей нужен символ веры, нужен Бог.
 Она решилась на поступок дерзкий —
 В безбожнейшую из эпох
 Бог
 воплотился в тесный лобик детский.
 Над ним летят стремительно часы
 Ее тревог, сомнений и отчаянья.
 Свой вечный, млечный путь
 Свершает сын,
 И колыбель, как маятник качается...
 В костре тех лет — ни истин, ни имен
 Останется лишь слабый след на камне
 И, словно мотылек в янтарной капле,
 Придет к нам мальчик из других времен.

Не библейским ли исходом начат
 Этот путь отчаянья во мне?
 Может быть, и вправду что-то значат
 Огненные буквы на стене.
 Молча расступаются деревья.
 Темною громадою горы
 Мы идем, чтобы разбить шатры
 Нам в пустыне нового кочевья.

Боже! Не об этом мы просили,
 Чтоб уйти, оставив на века
 Черные окраины России,
 Белые колымские снега...



Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

НА ПОВОРОТЕ ИСТОРИИ

ПАРАДОКСЫ МИРА

Это еще не мир. Не будем строить иллюзий. И не только потому, что большинство арабских стран выступает против соглашения, а одна из двух сверхдержав встречает его в штыки. Это и потому, что заключенное соглашение еще во многом остается неясным и расплывчатым. Мир делает свои первые робкие шаги, как бы боясь провалиться в пропасть.

Нужно отдать себе ясный отчет в том, что самая болезненная палестинская проблема еще не разрешена. Но это не должно удивлять, ибо речь идет о беспрецедентном мире, рождающемся из беспрецедентных в истории войн.

И по сей день арабские страны отказывают Израилю в праве на существование как государства и как нации. Египетско-израильское соглашение представляет собой, с одной стороны, поворот, казавшийся вчера невозможным, а с другой стороны, это начало совершенно нового пути, открывающего новую эру.

Но теперь, как и раньше, яблоком раздора является палестинская проблема, которая таит в себе острое противоречие: каким образом обеспечить национальное самоопределение палестинских арабов и в то же время обеспечить безопасность Израиля. И это тогда, когда террористические организации, претендующие на монопольное представительство палестинцев, выступают с программой, предусматривающей уничтожение государства Израиль.

Мы не можем игнорировать тот факт, что в Израиле получили широкое распространение взгляды, рассматривающие завоеванные территории как интегральную часть еврейского государства, как земли, принадлежащие нашим предкам. Таким образом, параллельно арабскому фронту отказа создается израильский фронт отказа, и оба они рассчитаны на увекочивение войны. Готов ли идти на это народ Израиля?

ПОБЕДА БЕЗ ПОБЕДЫ

Израиль, правда, может продолжать удерживать в своих руках завоеванные территории, но он не имеет возможности навязать свою волю арабскому миру, поставить побежденные народы на колени и заставить их капитулировать. Здесь мы сталкиваемся с острым парадоксом: победа Израиля фактически не может быть реализована. Израиль может одержать победу в сражении, но у него нет сил навязать ее поверженному врагу.

Подавляющее демографическое и геополитическое превосходство арабского мира уравнивает израильскую победу, делает ее победой без победы. Это весьма горькая правда, но от нее невозможно уйти.

Правительство Голды Меир, представлявшее в свое время большинство народа, не ставило своей целью присоединение к Израилю всех или даже большинства завоеванных территорий, но бескомпромиссно стояло на требовании новых, обороноспособных границ путем перекройки карты Ближнего

Востока. Это была попытка вести политику свершившихся фактов. Но пришла война Судного дня и свела эту попытку на нет. Израиль остался без программы, без перспектив, без руля и ветрил.

В значительной мере результатом, хоть и замедленным, этого краха был происшедший на последних выборах политический переворот, поставивший у руля государства — и в этом новый парадокс! — правительство, знаменем которого была не только новая карта Израиля, но и так называемый целостный Израиль. Мир затаил дыхание, — не предстоит ли новая, пятая по счету, арабо-израильская война? Еврейско-арабский конфликт возвращался к своему исходному пункту: борьба между двумя народами за одну и ту же страну.

ЭЛЬ-ХАЛДИ И ТЕОДОР ГЕРЦЛЬ

Автор новейшей биографии Герцля (Амос Эйлон Герцль) рассказывает между всем прочим, что еще в 1899 году бывший мэр Иерусалима Эль-Халди обратился с письмом к главному раввину Парижа Кэну, в котором он, поддерживая идею национального возрождения еврейского народа, возражал против того, чтобы Палестина служила этой цели. "К сожалению, — писал он, — судьбы народов определяются не только абстрактными идеями, даже если они чисты и благородны. Нужно считаться с действительностью, уважать существующие факты и силу, жестокую силу обстоятельств. А действительность теперь такова, что эта страна является плотью от плоти Оттоманской империи, и, что еще важнее, заселяют ее другие, не сыны Израиля. Осуществление идеалов сионизма, — продолжает Эль-Халди, — требует более реальных средств, чем капитал, — пушек и брони. — И в заключение подчеркивает. — Это сумасшествие, в полном смысле слова, со стороны доктора Герцля, которого я очень уважаю как человека, как талантливого писателя и как настоящего еврейского патриота

— думать, что, даже при согласии Султана, он сможет когда-нибудь добиться Палестины".

По истечении трех недель Герцль отвечает своему арабскому корреспонденту: "Как вы сами сказали, у евреев нет военной силы, и как нация они уже давно потеряли всякое тяготение к войне... Вы видите трудность в наличии нееврейских жителей в Палестине. Но кто думает о их удалении? Их польза и личное богатство будут лишь приумножены благодаря нашему приходу в страну".

В этом обмене писем мы видим первые проявления того будущего национального конфликта, который теперь разгорелся во всю силу. Здесь также в развернутом виде представлен один из главных аргументов сионизма — с приходом евреев возрастет благосостояние коренного арабского населения. Так, собственно, и произошло: еврейское заселение Палестины послужило мощным фактором модернизации жизни не только палестинских арабов, но и окружающих арабских стран. Но такова уже диалектика истории — чем больше подымалось благосостояние арабского населения, тем больше росло его национальное самосознание, тем больше крепло арабское сопротивление еврейскому заселению Палестины.

В своей книге "Беседы с арабскими лидерами" Бен-Гурион рассказывает, что один из арабских вождей Муса Алли сказал ему: "Я предпочитаю, чтобы страна была бедной и пустынной даже еще сто лет, пока мы, арабы, станем способны собственными силами ее развить".

Примечательно, что Бен-Гурион уже тогда в полной мере понял национальный характер конфликта. "Я почувствовал, — писал Бен-Гурион, — что как араб-патриот, он был в полном праве сказать именно так". Это и заставило его искать политическое решение проблемы — еврейское государство как часть арабской федерации.

ДВА СИОНИЗМА

Для того, чтобы иметь представление о роли арабской проблемы, ставшей на пути сионизма, достаточно привести сло-

ва Вейцмана, сказанные им в начале двадцатых годов: "Во всех произведениях Герцля, опубликованных до сих пор, нет ни одного слова, посвященного арабскому вопросу, ставшему теперь центральным. Тогда не было этой проблемы, а теперь она существует. Тогда писали о Палестине как о стране, лишенной населения, и когда Нордау стало известно, что в Палестине есть жители, он воскликнул в отчаянии: "Бедный Герцль! Ведь он ошибся, имеются еще люди в Палестине!"

По существу это и был все разгорающийся национальный конфликт, который привел сионизм к необходимости обратиться к оружию, хотя это не только не соответствовало его целям, но было совершенно чуждо его природе как национально-освободительного движения.

В своей уже упомянутой книге "Беседы с арабскими лидерами" Бен-Гурион представляет дело таким образом: "Ни у кого из великих мыслителей, мечтавших и писавших о возрождении государства нашего народа на его древней родине, не было в душе подозрения, что это возрождение с первого дня будет сопровождаться военными нападениями со стороны арабов и что восстановление Израиля станет возможным только в результате победы израильских войск".

Бен-Гурион тут касается самой сути сионистского движения — вопреки утверждениям советской антисемитской пропаганды о сионистском империализме и колониализме — сионизм с самого начала стремился завоевать страну трудом, а не оружием. На этом принципе прежде всего строилось еврейское рабочее движение, которое меньше всего стремилось к обострению арабо-еврейского конфликта, но видело свою цель в том, чтобы помочь сорганизоваться арабским рабочим. И тут, по-видимому, больше всего проявилась его историческая ограниченность. Слишком долго оно питало себя иллюзией, что классовая организация и классовая борьба арабских рабочих и феллахов против арабских эфенди сможет послужить основой для еврейско-арабского сотрудничества. Долгое время оно отказывалось признать за арабами право на национальное движение, считая его не более, чем продуктом враждебной агитации арабских гос-

подствующих и клерикальных кругов, а также результатом попустительства английской администрации. Существовала догма, что польза, приносимая еврейским заселением страны коренному населению, а также классовое пробуждение арабских рабочих и феллахов победит национальную рознь и вражду. Но оказалось наоборот: национальная консолидация арабов была ускорена, а враждебность к еврейскому заселению страны возросла.

Когда еврейские рабочие создали организацию "Гашомер" для того, чтобы заменить ею арабскую и черкесскую охрану новых поселений, когда была создана "Хагана", организация с более широкими задачами самообороны, то одним из их принципов была выдержка, их целью было избежать расширения и углубления конфликта. Это был водораздел, отделявший левый социалистический лагерь сионизма от правого ревизионистского, требовавшего политики "твердой руки".

"СОЮЗ МИРА"

Было в сионизме и чисто пацифистское крыло ("Союз мира"). И, может быть, именно сегодня было бы справедливым оценить его поиски и усилия. Это было объединение преимущественно интеллектуалов, которые не теряли надежды на мир даже в дни кровавых событий и без устали искали соглашения между народами.

Центральной фигурой пацифистского сионизма был Мартин Бубер, посвятивший большую часть своей жизни поиску путей к миру и союзу между двумя враждующими народами. Напрасно думают, что "Союз мира" готов был поступиться важнейшими элементами сионизма ради достижения еврейско-арабского сотрудничества. Верно лишь то, что он искал другие пути реализации сионизма.

В 1939 году в своем открытом письме к Ганди Мартин Бубер развил могучую аргументацию в защиту сионизма. Ганди отстаивал исключительное право арабов на Палестину, обвиняя сионизм в том, что он опирается на английские штыки.

"Но ведь, — отвечал Бубер, — и арабы приобрели свое право завоеванием страны. И если нет теперь народов иммигрирующих, то есть один народ, который тянется к своей древней родине, где есть еще для него место. Правда, и этот народ завоевал в свое время страну, но он ее завоевал в целях заселения, а изгнан был завоевателями исключительно ради их стремления к господству. Как можно, — спрашивает Бубер, — подвергнуть сомнению право этого народа на строительство своей родины в этой стране?"

"Союз мира" верил в мир, ибо там, где есть любовь к стране со стороны обоих народов, там даже трагические противоречия могут быть разрешены.

В том же 1939 году М. Бубер прочитал в Иерусалимском университете лекцию "Требования духа и историческая действительность". "Дух народа Израиля, — говорил он в своей лекции, — это дух осуществления. Осуществление чего? Осуществление той правды, которая не зависит от нас, и в то же время нуждается в нас для своего осуществления. Я имею в виду ту простую правду, по которой человек сотворен для цели. Есть цель в творении, есть цель у человеческого рода. Мы эту цель не выдумали, однако, она открыта нашим глазам. Какова же эта цель? Этой целью не может быть вечное противоборство, этой целью является мир".

Различными путями пытался пацифистский сионизм продвигаться к своей цели. Позже, в 1948 году, Бубер формулирует с большой ясностью: "Союз двух самостоятельных, равноправных народов, где каждый из них господин своей собственной культуры. Но оба объединены в деле развития своей общей родины и в федеративном ведении своих общих дел. Через этот союз мы стремимся возвратиться и войти в общество народов Ближнего Востока". (Сионизм и "сионизм").

Во главу программы пацифистского сионизма было поставлено создание двунационального арабо-еврейского государства, в котором равенство наций не зависело от количественного соотношения между ними. Вокруг лозунга двунационального государства велись ожесточенные споры.

И именно игнорирование количественного соотношения наций было его ахиллесовой пятой.

Политика с позиции силы, которой придерживались оба народа, не могла примириться с этим: арабы опасались превращения евреев в большинство и соответственно в господствующую нацию, евреи же не могли поступиться принципом сионизма и оказаться на положении национального меньшинства даже на своей родине.

"Союз мира" оказался не способным дать ответ на роковой вопрос: как быть, если арабы не согласятся на еврейскую иммиграцию? В этом случае предстояло либо поступиться сионизмом, либо продолжать свое дело под защитой английского мандата.

СИЛА ПРАВА И ПРАВО СИЛЫ

Как часто бывает, история рассудила по-своему: раздел Палестины на два государства стал фактом. План раздела страны появился уже перед Второй мировой войной, но, как мы знаем, он вызвал резкое противодействие со стороны обоих народов.

Арабы отвергли этот план с порога, требуя независимости страны, которая дала бы им возможность распоряжаться своими судьбами.

В сионистском лагере план раздела вызвал большие споры: с наибольшей ясностью дилемму сионизма выразил Х. Вейцман: "Выбор, стоящий перед нами, — либо еврейское меньшинство во всей Палестине, либо еврейское большинство в части страны".

Оглядываясь назад, мы можем сказать, что идея двунационального государства потерпела как будто бы полное крушение. Но история, столь часто развивающаяся окольными путями, может засвидетельствовать, что косвенно и в другой форме двунациональная идея торжествует: победил не принцип национальной исключительности, а принцип, по которому страна остается родиной для обоих народов.

Раздел страны, который должен был послужить завершением кровавой тяжбы, оказался исходным пунктом новой борьбы, втянувшей все арабские государства и придавшей конфликту глобальный характер. В этой глобализации конфликта кроется глубокий исторический смысл. Народ Израиля всегда был близок к болевым, "невралгическим" точкам мировой истории. Как сказал о евреях Г. Гейне: "Они были теми, которые дали миру Бога и нравственность, и сражались, и страдали на всех боевых полях мысли".

Великий перелом, наступивший с созданием еврейского государства, заключался прежде всего в том, что евреи, жившие под протекторатом различных государств, впервые превратились в способную защитить себя национальную силу, еврейское право превратилось в силу, но не превратилось ли оно в право силы?

Мы уже говорили о том, что в сионизме было течение, которое ориентировалось преимущественно на силу. Еще в 1922 году В. Жаботинский заявил, что он не верит, что с политической точки зрения возможен мир с арабами. По его оценке, арабы не согласятся на мир, и потому "проблема остается проблемой силы".

В противовес этому демократический и рабочий сионизм поднимал на щит моральный, а не "силовой" аспект проблемы.

Еще в 1930 году в своем докладе на Конгрессе трудовой Палестины в Берлине Бен-Гурион говорил: "Всякая сила, у которой нет морального основания, — не имеет будущего. Еще не было случая в истории, чтобы сила кулака сама по себе победила, если вести счет поколениями. Мы во всяком случае не можем базироваться на политике силы, даже если бы хотели этого. Мировое общественное мнение, в котором мы нуждаемся, потребует от нас стопроцентную меру справедливости по отношению к другим, если не больше этого". Развивая ту же мысль, Бен-Гурион говорит: "Мечты о сионистской политике с позиции силы, которая не заботится о стопроцентной справедливости в отношении прав арабов, вскры-

вают не только отсутствие чувства правоты, но и отсутствие всякого чутья к реальной политике. Одна только политика пригодна для сионизма — та, которая может выстоять перед моральной критикой. Нет поэтому никакого сомнения в праве на национальное самоопределение арабских жителей Палестины. Наш долг признать это право и поддерживать его. Однако право самоопределения не означает права владения Палестиной. Мы полностью отрицаем право арабских жителей на исключительное владение всей страной" ("Внешняя политика еврейского народа").

ПЕРЕМЕНА РОЛЕЙ

Зададимся, однако, вопросом — что же получилось? История сыграла злую шутку, поменяв роли основных сил, действующих на арене сионизма и Израиля. В течение десятков лет, когда сионизм вынужден был прибегать к силе оружия, во главе его стояла рабочая партия, призывавшая к миру с арабами. Когда же наступила новая эпоха, и мы входим в фарватер мира, во главе Израиля оказалась партия, основатели которой никогда не верили в мир и базировались на политике силы.

Но в том, что история избрала именно Бегина своим орудием для продвижения к миру, есть глубокий смысл.

В сегодняшнем Израиле, в котором безусловно усилились националистические тенденции ("Гуш Имуним" и др.), только правительство Бегина, самого принадлежащего к этим кругам, способно привести страну к необходимым уступкам без братоубийственной войны. Нельзя понять смысл происшедшей в Израиле перегруппировки сил, если отвлечься от того, что партия, занимавшая место фланга в израильской общественности, теперь заняла место центра, она вынуждена вести себя соответственно, если не хочет потерять власти.

История приготовила Бегину совсем иную роль, чем та, которая была подготовлена всей его политической биогра-

фией главы движения "Херут". Для выполнения этой роли ему приходится перековываться на ходу, вступая в противоречие со своими слишком последовательными сторонниками. На этом пути он вынужден был примириться со словом "отступление", примириться с неприсоединением завоеванных территорий к Израилю, с приобщением Иордании к решению судеб этих территорий, примириться с тем, чтобы прекратить создание новых поселений на контролируемых территориях.

Альтернатива была слишком остра: либо придерживаться всецело своих принципов и тогда навсегда отказаться от власти и завоеванных позиций, либо сохранить власть и позиции, но тогда приспособить свои принципы к неумолимым требованиям действительности.

Герой фразы и иллюзий уступает место государственному деятелю, и в нем борются до сих пор оба эти начала. Глава правительства, который только недавно пел дифирамбы короткому слову "нет", вынужден сменить гнев на милость и петь дифирамбы столь же короткому слову "да".

Похоже, что Бегин сделал выбор и войдет в историю как глашатай мира и сотрудничества. Мир становится реальностью, и напрасно кто-то встречает его с разочарованием, полагая, что войны Израиля и его жертвы были ни к чему. Можно указать на совершенно реальные результаты, которые принесет с собой мир. И важнейший среди них — это признание со стороны Египта, 40-миллионного Египта, вплоть до установления дипломатических и всех прочих отношений. И вытекающая отсюда возможность великого сотрудничества в строительстве и развитии обеих стран.

Можно указать на три поворотных пункта в истории Израиля. Первым является его национально-освободительная война и создание еврейского государства. Второй пункт — это Шестидневная война, поднявшая на огромную высоту международный престиж Израиля и доказавшая, что еврейское государство способно твердо стоять на собственных ногах. Третьим пунктом будет мир, который принесет Израилю самую большую победу, ибо укоренит еврейское государство в семье народов на Ближнем Востоке и во всем мире.

В самом Израиле мир перекроит весь строй жизни, душевный, интеллектуальный и политический.

Можно без всякого преувеличения сказать, что эта победа на Ближнем Востоке будет иметь мировое значение не только потому, что будет ликвидирован опаснейший очаг войны. Но и потому, что в современном мире, уставшем от международной неустойчивости и бешеной гонки вооружения, появится, наконец, надежда на лучшую жизнь.



Нафтали ПРАТ

БЕЗУМЦЫ В БЕЗУМНОМ МИРЕ

Об истоках современного террора

Едва ли не каждый день средства массовой информации сообщают о новых актах террора, совершаемых в различных странах мира. Жертвами террора оказываются разные люди, чаще всего случайные. Их убивают во имя разных целей, чаще всего возвышенных.

Общество все больше начинает относиться к террору, как к обыденному явлению. И все реже задумывается, откуда эта безудержная эпидемия убийств, охватившая земной шар. Террор приелся и больше не вызывает возмущения. Больше того, он начинает рассматриваться как законная форма политической борьбы.

Сегодняшние террористы — это завтрашние государственные деятели, партнеры переговоров. Моральное сознание современных людей склонно искать оправдания их действиям. Вокруг имен террористов, убитых в схватке с полицией,

создаются легенды. Для некоторых западных интеллектуалов образ человека, творящего насилие во имя разрушения несправедливого общественного устройства, обладает непреодолимой привлекательностью. "Молчаливое большинство" иногда возмущается, но это возмущение легко направляется по ложному адресу.

Государственный, направленный сверху вниз террор осуществлялся в самом большом масштабе тоталитарными диктатурами Сталина и Гитлера. Они создали совершенные и бесперебойно работающие машины массового террора. В функционировании этих машин присутствовал новаторский элемент. Машины действовали независимо от поведения объекта террора: лояльность не защищала советского гражданина от произвола сталинских органов, так же, как законопослушность немецких евреев не оказывала никакого влияния на их судьбу.

Этот новаторский элемент был впоследствии перенят террористами, не стоящими у власти, но стремящимися к ней. Возможно, здесь сказывается также практика современных войн, жертвами которых в равной степени оказываются и вражеские солдаты, и мирное население — женщины, дети и старики.

Современная война неизбежно становится тотальной, а развитие ядерного оружия придает этому обстоятельству зловещий оттенок. Тотальный характер современной войны приобретает апокалипсические измерения. При этом малые войны, которые ведутся террористами в разных частях мира, характеризуются теми же свойствами, что и войны между государствами. Объектом террора оказываются любые израильтяне, любые англичане, любые полицейские, любые буржуа и т.д. Этот аспект современного терроризма придает ему оттенок не просто жестокости, но жестокости иррациональной, граничащей с безумием.

НЕВИНОВНЫХ НЕТ

Нынешние террористы не являются новаторами в области политических убийств — у них были предшественники в XIX веке. Сегодняшние террористы пользуются марксистско-ленинским жаргоном для публичного прокламирования своих целей, однако с гораздо большим основанием их можно считать последователями анархистов XIX века, которые наводили страх на буржуазную публику, взрывая самодельные бомбы в зданиях парламентов, бирж, а то и просто кафе.

Когда одного из этих анархистов спросили, почему он совершил акт, жертвами которого пали невинные люди, он возразил хладнокровно: "Невиновных — нет". Это утверждение является символом веры всех адептов того террора, который сознательно вносит элемент случайности в выбор своих жертв, а вернее — вовсе отвергает выбор как таковой. Именно этот вид террора преобладает в наши дни.

По утверждениям террористов, болезнь, которой поражено общество, настолько серьезна, что для борьбы с ней необходимо применение таких сильнодействующих средств, как бомбы и пули, захват заложников и похищение самолетов. Никакие другие средства не могут подействовать, потому что общество не в состоянии осознать тяжесть своей болезни. Для террориста характерно глубочайшее презрение к людям — к аморфному и тупому большинству — и абсолютная, не знающая сомнений вера в свое превосходство над ними.

Люди для террористов — бессмысленное стадо, не способное понять свои интересы. В своих собственных глазах террористы выглядят некими сверхчеловеками, призванными вершить суд над порочным обществом и силой принуждать историю идти в желательном им направлении.

Итак, террористы — совершенные и законченные эгоцентрики, и тот, кто попытается вывести явление террора из тех или иных пороков современного общества, попытается рассматривать террор как реакцию — пусть ложную и пагубную — на реально существующее общественное зло, тот допустит грубую ошибку.

Социальное зло, борцами против которого провозглашают себя террористы, может быть более или менее реальным, однако в действительности террор призван, в первую очередь, удовлетворять патологические душевные импульсы тех, кто его осуществляет. И если террор при этом даже рассматривать как реакцию на реальное общественное зло, то прежде всего это реакция не адекватная. Жестокость террористических актов, как правило, намного превышает ту несправедливость, против которой они направлены. Более того, сама эта несправедливость часто оказывается если не плодом их воображения, то, во всяком случае, весьма искаженным и преувеличенным образом действительных фактов.

"ВСЯ ВЛАСТЬ ХОРОШИМ СТРЕЛКАМ"

Тот, кто захочет изучить "идеологию" современного терроризма по декларациям и теоретическим сочинениям его сторонников, испытает серьезное разочарование. Программные заявления современных апостолов революционного насилия редко идут дальше банальных деклараций о "власти народа". Может быть, более точным выражением этой "идеологии" является оригинальный лозунг "вся власть хорошим стрелкам", провозглашенный некогда одним из руководителей американских "Черных пантер".

Джеффри Джексон, британский посол в Уругвае, оказавшийся в 1971 году пленником знаменитых "тупамарос", так характеризует идеологию своих похитителей: "В теории они стремились к преобразованию общества, однако в действительности они, по-видимому, никогда не заглядывали дальше насильственного переворота, который рисовался им в апокалипсических чертах". А ведь "тупамарос" были сплошь весьма образованными людьми. Кто-то пустил даже шутку, что для того, чтобы вступить в эту организацию, нужно было иметь степень доктора философии.

Провозглашая себя марксистами-ленинцами, маоистами или троцкистами, террористы обычно имеют самое смутное

представление о подлинных идеях своих вдохновителей. Знакомство с классиками революционной литературы они обычно приобретают из вторых рук.

Один из вождей "Черных пантер" Элдридж Кливер искренне признавался, что, прочитав Ленина, "понял очень мало". Зато, по его собственному признанию, он "влюбился" в пресловутый "Катехизис революционера", авторство которого поочередно приписывалось М. Бакунину, С. Нечаеву и, наконец, какому-то из учеников последнего.

— "Катехизис" стал моей библией, — повествует Кливер в своей на шумевшей книге "Замороженная душа". — Стоя на индивидуалистической платформе, не имеющей ничего общего со стремлением к преобразованию общества, я стал сознательно применять эти принципы в повседневной жизни. Я старался быть беспощадным в отношениях со всеми, с кем мне приходилось иметь дело. И я стал по-новому смотреть на белую Америку .

НЕЧАЕВЩИНА

"Катехизис революционера", независимо от того, кто являлся его автором, представляет собой квинтэссенцию революционного аморализма. Для революционера, согласно "Катехизису", моральным является все, что служит революции, а неморальным — все, что стоит на ее пути.

Зловещая личность С. Нечаева, с чьим именем неразрывно связан "Катехизис", стала символом тех, до поры до времени подавляемых тенденций в русском революционном движении, которые впоследствии восторжествовали в ленинизме. Нечаев, как известно, был основателем крайне централизованной тайной организации "Народная расправа", ставившей своей целью осуществление революции по приказу всеильного центра. Без всякого смущения Нечаев обманывал своих сторонников, а потом и Бакунина, выдавая себя за представителя Интернационала и члена Всероссийского революционного комитета.

Когда один из членов нечаевской организации студент Иван Иванов позволил себе усомниться в морали "Катехизиса" и даже заподозрить Нечаева в мистификации, Нечаев постарался убедить членов организации в том, что Иванов способен на измену и что его следует убить. В конце 1869 года Иванов был убит, однако полиция вскоре напала на след нечаевской организации. Процесс "нечаевцев", состоявшийся в 1871 году, послужил материалом для великого романа Ф.М. Достоевского "Бесы", в котором содержится самое глубокое проникновение не только в психологию, но и в метафизику революционного террора, не столько в его феноменальную действительность, сколько в его ноуменальную сущность. Самому Нечаеву удалось бежать в Европу, где он сумел, несмотря на скептицизм Герцена, очаровать Бакунина, который лишь после смерти Герцена вынужден был признать его правоту в деле Нечаева. Нечаев был выдан швейцарской полицией России, как уголовный преступник. Приговоренный к двадцати годам заключения, он умер в 1882 году в Петропавловской крепости, успев распропагандировать охранявших его солдат.

Нечаев воистину опередил свое время. Своим современникам-революционерам он казался чудовищем. Не только Маркс, но и Бакунин сочли необходимым отмежеваться от него. Через сто лет на другом континенте он нашел, однако, восторженного поклонника, которого нечаевский аморализм не только не отпугивал, но, наоборот, восхищал. Иные времена, иные нравы... Нашим современникам XIX век — этот "воистину железный век", по словам А. Блока, — кажется "добрым старым временем", эпохой старомодного, наивного человеколюбия и смешной, сентиментальной сострадательности. Правда, и в этот идиллический век появлялись пророки беспощадного истребления "вредных людей", а иногда даже и практики-экспериментаторы.

Эмигрировавший в США немецкий анархист И. Мост, исключенный из законопослушной германской социал-демократической партии, опубликовал брошюру, красноречиво озаглавленную: "Наука революционной войны. Пособие по

изготовлению и применению нитроглицерина, динамита, пироксилина, гремучей ртути, бомб, взрывателей, ядов и т.д.". Мост рекомендовал подкладывать взрывчатку в церкви, дворцы, бальные залы и другие места, где собираются "эксплуататоры". Его брошюра предвосхищает распространявшиеся в наше время пособия по ведению революционной войны и организации террористических актов — вплоть до инструкций по изготовлению в домашних условиях атомной бомбы.

ЖЕЛЯБОВ И АРАФАТ

В сатирическом романе "Остров пингвинов" Анатолий Франс предсказывал разрушение буржуазной цивилизации в результате взрывов, организованных анархистами. Он предполагал, что история начнется сначала. Кто знает, может быть, его пророчеству суждено сбыться?

Во времена Анатолия Франса в анархизме, наряду с активистски-террористическим направлением, развилось другое, мирное и гуманистическое, пророком которого был прекраснородушный утопист П.А. Кропоткин. (Теоретически допуская террор, ученый-анархист принадлежал, однако, к совершенно иному психологическому типу, чем ожесточенные бомбометатели.) Среди террористов нашего времени легко можно встретить людей типа Франсуа-Клодиуса Равашоля — бывшего уголовного преступника и агента полиции, ставшего анархистом. Люди, подобные Кропоткину, принадлежат XIX веку. Однако уже во время русской революции почитатели Кропоткина гордо пели свой гимн:

**Под грохот набата,
Под гром канонады
Вставайте же, братья,
На зов Равашоля.**

А с эстрады можно было услышать такие куплеты — своеобразный этюд с натуры:

**Анархист с меня стащил
Полушубок теткин.**

Ах, тому ль его учил Господин Кропоткин?

Однако в целом террористы прошлого были несравненно выше нынешних как в интеллектуальном, так и в моральном отношении. Старые революционеры были в какой-то степени пленниками старомодных норм поведения — дворянской чести или буржуазной респектабельности.

Русские народовольцы, например, в терроре видели лишь вынужденное, крайнее средство борьбы с самодержавием, не оставлявшим никаких других путей к политическому и социальному обновлению России. Известно, что после убийства в июле 1881 года американского президента Гарфилда — убийства, совершенного отнюдь не по идеологическим мотивам, исполнительный комитет "Народной Воли" заявил о своем осуждении подобных актов насилия в Америке — "стране, где граждане вольны выражать свои идеи" устно и в печати, пользуясь оружием голосования, а не пулями и бомбами. Ограничения, наложенные на себя террористами "Народной Воли", поднимают их моральный облик на высоту, недостижимую для террористов в наши дни. Между Желябовым и Арафатом лежит пропасть, через которую невозможно перебросить мост. Еще более справедливо это по отношению к духовным наследникам народовольцев — социалист-революционерам. Среди них были такие люди, как И. Каляев, — убийца с чертами христианского мученика, отказавшийся от совершения террористического акта из-за того, что его жертвами должны были стать не только великий князь Сергей Александрович, но и его семья. Когда же Каляев убил, наконец, великого князя, он не пожелал скрыться и принял кару, как справедливое возмездие за грех, тяжесть которого не снимается необходимостью его свершения.

Но в чем же все-таки истоки современного террора?

БОГ — СВОЕВОЛИЕ

"Потребительское общество" знает лишь одну неоспоримую ценность — удовлетворение личных потребностей и жела-

ний. В этом обществе связи между людьми носят исключительно практический, функциональный характер. Технизация и коммерциализация всех областей жизни подрывает всякие отношения между людьми, основанные на бескорыстии и солидарности. Общество, где преобладают лишь центробежные тенденции, распадается на конгломерат "групп давления", каждая из которых скреплена общностью эгоистических интересов своих членов.

Внутри каждой группы продолжают действовать все те же центробежные тенденции, ведущие в конце концов к полной атомизации общества. Общество как целое строится на принципе неустойчивого равновесия между различными "группами давления".

Со времени секуляризации западное общество больше не знает общеобязательной этики. Индивидуализм, погоня за успехом и наслаждениями не объединяют людей, даже если становятся всеобщей нормой поведения.

В этих условиях постепенно стираются грани между законным и незаконным способами удовлетворения потребностей. Те, кто чувствуют себя обделенными в этой всеобщей погоне за земными благами, все чаще обращаются к преступлению. Насилие превращается из нарушения нормы в саму норму.

Те, кто протестуют против современного общества, в сущности, остаются его детищем, исповедуют ту же религию личного своеволия и потакания своим прихотям, что и его защитники.

Современные западные террористы выросли в обществе, которое отвергает самоограничение и внутреннюю дисциплину, которое не признает никакой иерархии ценностей. Человек современного западного общества — анархо-индивидуалист, либо осторожный и осмотрительный, либо озверевший и бунтующий. В обоих случаях он знает лишь одного Бога — своеволие.

Социальное происхождение большинства террористов свидетельствует о том, что к убийству и разрушению их толкает отнюдь не нужда. Среди них, разумеется, можно встретить и озлобленных выходцев из трущоб, однако, в целом — это

чаще всего выходцы из обеспеченных семей, получившие хорошее образование. Молодые люди восстают против общества, дающего им эту обеспеченность, рвут с ним во имя идентификации с бедняками и угнетенными.

И в прошлом отдельные представители привилегированных слоев общества нередко стремились выступать в роли бескорыстных идеалистов, самоотверженных защитников угнетенных масс, независимо от того, признавали ли их эти массы своими вождями. Однако в наше время это явление приобрело новые черты.

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ

Уроженец острова Мартиники врач-психиатр Ф. Фанон, принимавший активное участие в борьбе алжирских арабов против Франции, открыто утверждал, что насилие служит угнетенным средством подлинного самоутверждения, оно освобождает их души. Фанон нащупал одну чрезвычайно важную черту современного терроризма: независимо от идеологии, которую официально провозглашают своей сегодняшние "идейные" убийцы, на самом деле они борются с одним общим врагом — собственным душевным смятением и страхом перед жизнью. Подлинные корни современного террора — не идеологические, а психологические или экзистенциальные.

Люди, которые сегодня похищают самолеты, стреляют в безоружных, захватывают и убивают заложников, демонстрируют прежде всего поврежденность своей психики. Эти люди проецируют вовне свои внутренние конфликты, приписывают их чужой враждебности. Современный террорист живет в бредовом мире. По мнению психиатра профессора Лоуренса Фридмана, политический террорист стремится утвердить свои "мужские" качества, потому что в прошлом его самолюбию были нанесены чувствительные удары.

Можно предположить, что часто психическая ненормальность террориста коренится в травмах детства, в семейных

неурядицах, в протесте против подлинного или воображаемого деспотизма родителей. Любопытно, что М. Бакунин сам приписывал мятежные свойства своей натуры влиянию деспотизма матери. Имеются сведения о том, что великий анархист страдал импотенцией.

Иоганн Мост — незаконнорожденный сын офицера и проститутки, в детстве страдал от бесконечных издевательств мачехи, в юности — от грубости хозяина, у которого он работал. Его лицо было изуродовано неудачной операцией.

По мнению профессора Фридмана, террорист не может вынести бремени ответственности, связанной с осознанием себя личностью. Он стремится переложить это бремя на других, стать послушным орудием какой-то группы. Отказываясь от своей личности, террорист обретает самоутверждение, демонстрируя свою власть над жизнью других людей. Он заставляет считаться с собой, вести с собой переговоры, подчиняться себе. В террористическом акте он обретает то чувство значительности своей личности, которого ему всегда недоставало.

Наконец, одной из важнейших особенностей психики террориста является почти постоянное стремление приписывать своим актам магический, первобытно-религиозный характер. По свидетельству израильских исследователей психологии арабских террористов, последние, как правило, верят в магическую силу кровопролития. По мнению профессора Фридмана, одержимость идеей кровавого жертвоприношения демонстрирует любой современный террорист.

Чаще всего террористы скрывают подсознательную основу своей человекоубийственной склонности от себя и от других, рационализируют мотивы своего ненормального поведения с помощью возвышенно звучащих лозунгов. Однако подлинные причины их склонности к террору коренятся в глубине их несчастных душ, терзаемых демонами страха и ненависти. Они ищут катарсиса в самом акте насилия, пытаются таким образом найти смысл своей жизни, попыткой "найти себя" — иными словами, преодолеть мучительную внутреннюю пустоту.

Необычайная сложность современной жизни, ее невыносимый темп, перегруженность новыми впечатлениями — несут свою долю ответственности за "бегство в террор" части привилегированной молодежи.

По словам американского исследователя Элвина Тоффлера, террор в качестве главного занятия этих молодых радикалов представляет собой один из видов "полной капитуляции перед напряжением, связанным с принятием решений в условиях неуверенности и чрезмерных возможностей выбора... Для тех, кто не может справиться с новизной и ослепляющей сложностью перемен, — продолжает Тоффлер, — терроризм служит заменителем мысли. Может быть, терроризм не свергает режимы, но он устраняет сомнения".

Одним из видов сомнения, которое революционер из привилегированной среды пытается устранить, бросаясь в террор, является чувство вины, несколько сходное с тем, которое испытывали в XIX веке русские "кающиеся дворяне". Однако по сравнению со своими русскими предшественниками нынешние жертвы чувства вины оказываются куда более примитивными, морально и интеллектуально недоразвитыми, инфантильными существами.

Есть что-то детское в их бездумной, безудержной жестокости. Весьма примечательно, что чувство вины, преследующее кандидатов в террористы, возбуждается лишь теми социальными привилегиями, которыми они пользуются, но отнюдь не убийствами, которые они совершают. Нынешние террористы просто не в состоянии почувствовать в своих жертвах людей, подумать об их страданиях. Для этого они слишком поглощены собой.

ПАРАЛИЧ ВОЛИ

Современное человечество освободило легионы бесов, пребывавших скованными, и бесы вселились в души людей. Ибо люди забыли то Имя, которым бесов заклинают.

Большинство современных террористов формально исповедует атеизм. Наше время явило мрачный курьез — зрелище фанатиков ислама, ведущих священную войну против неверных под знаменем ленинизма. В Латинской Америке в числе террористов оказалось несколько католических священников, ухитряющихся соединять христианское учение о любви с террористической практикой, основанной на ненависти. Известно, что черную мессу может служить только настоящий священник... В конечном счете, террор коренится в той страшной духовной пустоте, которая поразила людей, провозгласивших смерть Бога.

Отвернувшись от источника жизни, жаждущие припадают к отравленным источникам ненависти и разрушения. Политические и социальные теории способны дать лишь частичный и неполный ответ на вопрос о корнях террора. Может быть, ближе других к истине Эрих Фромм, который писал: "Если человек не может ничего создать, не может оставить след на чем-либо или на ком-либо, если он не может вырваться из тюрьмы своего тотального нарциссизма, он может избежать невыносимое чувство бессилия и ничтожества, лишь утверждая себя в акте разрушения жизни, которую он неспособен создать".

Многочисленные и разномастные террористы нашего времени с гордостью называют себя ленинцами. Они правы в том смысле, что Ленин был самым убежденным и последовательным сторонником революционного насилия. Они заблуждаются, однако, считая свою тактику продолжением ленинской. Можно предположить, что в глазах Ленина всевозможные террористы наших дней: аргентинские "монтонерос" и уругвайские "тупамарос"; японские, немецкие, итальянские "красноармейцы"; сообщники Баадера и Майнгоф или убийцы Альдо Моро — все эти кровожадные недоросли выглядели бы всего лишь "взбесившимися мелкими буржуа". Их сенсационный террор, с точки зрения ленинизма, заслуживает несомненного осуждения — не по моральным соображениям, разумеется, но вследствие полной неспособности террора приблизить цели ленинизма.

Террористы называют насилие, к которому они прибегают, "оборонительным". Они утверждают "законность" своих действий и "незаконность" государства и общества, против которых они борются. Для легитимации своего насилия они используют "государственную" фразеологию. Многие террористические организации, даже если они состоят всего из нескольких человек, именуют себя армиями: "Красной армией", "Народной армией", "Красными бригадами" и т.п. Главарь крошечной, но произведшей большой шум организации, причудливо именовавший себя "Симбиозной армией освобождения", Дональд де-Фриз возвел себя в чин "генерал-фельдмаршала".

Слово "народный", фигурирующее в названиях различных террористических организаций, призвано демонстрировать источник их претензий на суверенную власть. Тайники, в которых террористы держат похищенных людей, они называют "народными тюрьмами". Они не просто убивают — они "казнят", причем на основании "приговора", вынесенного "судом". Все это выглядит игрой — кровавой, мрачной игрой дефективных детей.

Террористам никогда не удавалось привлечь на свою сторону большинство народа, якобы от имени которого они действуют. В известных случаях, например, в условиях национального угнетения, массы могут сочувствовать целям, которые пишут на своем знамени террористы. Однако, в конечном счете, психически нормальное большинство отворачивается от практики террористов.

Во все времена подлинным источником кровожадного "идеализма" террористов было глубокое психическое расстройство. Однако, как большинство психически больных людей, террористы с негодованием отвергают мысль о своей ненормальности. В их глазах нормальными являются лишь они сами, а все остальное человечество — безумно.

Нет ли здесь крупинцы истины? Не безумно ли то общество, которое не в состоянии справиться с терроризмом нескольких сотен юнцов? Ведь "непобедимость" современного терроризма объясняется его международным характером. Его

сила в поддержке, которую оказывают ему некоторые государства и политические деятели, в нежелании правительств демократических стран портить отношения с владеющими нефтью покровителями террористических организаций, в тайных происках разведок тоталитарных государств, которые используют террористов в своих целях.

История убедительно свидетельствует о чрезвычайно малой эффективности террора как средства политической борьбы. И если сегодня террористам часто удаются их кровавые замыслы, это свидетельствует не об их силе, но о безволии и неуверенности в себе современного потребительского общества, и, пока оно не преодолеет паралич воли и обманчивое чувство безопасности, не исчезнет и питательная среда для микробов террора.

ANDREI SEDYCH
Editor in Chief

LAWRENCE WEINBERG
Business Manager

Novoye Russkoye Slovo

Oldest Russian Daily - Established 1910

243 WEST 56th STREET
NEW YORK, N. Y. 10019

M. G. Tel COlumbus 5-5300

Подписываясь на газету будьте добры послать наш денежный перевод на сумму заказа. Просим об этом, чтобы облегчить нашу работу и ускорить оформление подписки.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Ежедневное и воскресное издание:

Год — \$50.00; 6 мес. — \$28; 3 мес. — \$17; 1 мес. — \$6.00

Ежедневное издание только:

Год — \$45.00; в мес. — \$25.00; 3 мес. — \$15.00.

Воскресное издание только:

1 год — \$20.00; в месяцев — \$12.00

Заграничная подписка принимается только на

1 год — \$60.00; 6 месяцев — \$35.00

Только воскресное издание для заграницы

1 год — \$25.00; 6 месяцев — \$15.00

— Перемена адреса 1 доллар —

Заграничная подписка воздушной почтой
в страны Европы и Латинской Америки

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$150.00; 6 месяцев — \$90.00

Воскресное издание только:

1 год — \$75.00; 6 месяцев — \$40.00

Отправка газеты в страны Азии, Африки и Австралии

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$180.00; 6 месяцев — \$100.00

Воскресное издание только:

1 год — \$85.00; 6 месяцев — \$45.00

Подписные деньги посылайте наличными в заказном письме, чеком или почтовым переводом (Мони ордер) простым письмом.



Владимир СОЛОВЬЕВ

ВАСИЛИЙ ШУКШИН: МАНИЯ ПРАВДОИСКАТЕЛЬСТВА

(В жанре запоздалого некролога)

Василию Шукшину повезло — он умер.

Он ушел из жизни на пике славы, в разгар похвал, обрушившихся на его фильм "Калина красная".

Похвал не вполне заслуженных — думаю, он об этом догадывался, не мог не догадываться.

Он достиг вершин — и в творчестве и в популярности.

Дальше дело пошло бы на спад.

Его приписали к своему полку сначала новомировцы, а потом русофилы, хотя ни русофилом, ни новомировцем он не был.

Я его пытался приспособить к либеральным нуждам...

Официальной критикой он приспособливается к нуждам официальной идеологии.

Посмертно он получил высшую государственную премию — Ленинскую. Такова теперешняя тактика идеологических органов — не обострять отношений с художником, но приручить его, — тем более, он мертв.

Мертвый художник во всех отношениях удобнее живого.

Во-первых, он больше ничего не напишет.

Во-вторых, он не сможет опровергнуть ни читательское о нем мнение, ни официальное.

Говорят, в наших психушках сидят люди с фантастическим диагнозом: мания правдоискательства.

Среди героев Шукшина эпидемическая вспышка этой болезни.

В стране слепых зрячий выглядит уродом.

Естественная, неистребимая тяга человека к правде рассматривается как болезнь людьми, для которых ложь — основа существования.

Смерть на этот раз опередила государство: Шукшин не был посажен в сумасшедший дом благодаря тому, что умер от острой сердечной недостаточности сорока пяти лет отроду.

Я ставлю ему по государственному табелю о политических болезнях посмертный диагноз: мания правдоискательства.

Без этой мании не было бы художника.

Ему был дан средний талант и средний ум, и он был бы типичным середняком в искусстве, если бы не испепеляющая его мания правдоискательства.

Это, как заноза в сердце — все глубже и глубже, пока не умер.

Смерть выполняет ту же работу, что и власть, — только чище: лишает человека слова.

Если бы он не умер, то стал бы в конце концов "чудиком" — совпал бы с главным типом, выведенным им в литературе.

Точнее — введенным им в литературу: из жизни.

Чудиком — значит человеком с вывихнутыми мозгами, о котором говорят без слов — жестом: покручивая у виска пальцем.

Его не успели приручить, а он не успел разочароваться.

Из мертвого волка сейчас делают домашнего пса.

Жгучее его стремление к правде — чисто русское, больше того — советское: он так и не прорвался к ней сквозь каменную толщу лжи.

Сказалась острая нехватка ума, таланта, образования.

Он многого не додумал — не успел.

Торопился, а не успел.

Либо не смог.

Либо его мысли пошли по искаженному, неверному пути.

Он был похож на своих героев чуть ли не до полного с ними совпадения.

Внезапная его смерть потрясла зрителей именно по аналогии, по совпадению — за несколько месяцев до того погиб созданный им на экране герой "Калины красной" Егор Прокудин.

Словно бы вымышленной этой смертью, он предсказал смерть настоящую.

Смертью героя — свою смерть.

Должно быть, это путь облегченный — ближайших иллюзий и наивных подстановок, но, думаю, что он все-таки неизбежен, потому что, перегрузив своего последнего киногероя различными функциями, Василий Шукшин в том числе поручил Егору Прокудину представлять автора.

Правы были оппоненты фильма — в том числе я,— когда говорили о тотальной фокусировке всех творческих усилий на личности героя, из-за чего актер Шукшин оказался в роли кинематографического монополиста, подмял под себя режиссера Шукшина, и фильм вышел из-под режиссерского контроля.

Герой и автор в "Калине красной" совпали настолько, что вся сюжетная и концептуальная ситуация фильма оказалась рассмотренной не с точки зрения Василия Шукшина, а с точки зрения Егора Прокудина.

Две эти точки зрения — героя и автора — в фильме совместились в одну.

Представьте себе, если бы роман "Братья Карамазовы" был написан не Федором Достоевским, а Дмитрием Карамазовым — то есть без авторской оценки, без этической реакции, без оппонирования ему других героев, без сюжетной дислокации!

Вот в чем беда Шукшина — в отсутствии художественной полифонии, в полном и беспрекословном подчинении себя и своего искусства своему непутевому герою.

Василий Шукшин полностью сливается с Егором Прокудиным, расстояние между автором и героем сокращается до минимума, автор жалеет героя, а получается, что самого себя. К тому же, смерть Егора Прокудина создает вокруг него ничем не оправданный ореол мученичества, в то время как он прежде всего мучитель, а потом уже мученик.

Отношение Шукшина к Егору Прокудину и сюжетная окраска этого образа оказались в противоборстве и антагонизме.

Главный герой фильма присвоил себе авторские права и распространил властное свое воздействие на весь фильм.

Произошло непредусмотренное автором смещение, непредвиденный сдвиг: кого же все-таки Шукшин играет — закоренелого рецидивиста или самого себя?

Авторская позиция в фильме затуманена, а граница между автором и героем зыбкая, невидимая, легко проходимая.

Оправданное в "Печках-лавочках", предыдущем фильме Шукшина, триединство (сценарист-режиссер-актер) в "Калине красной" сомнительно.

Роль Егора Прокудина требует либо полного в него перевоплощения, либо остранения, отчуждения от героя.

Сюжет и образ в фильме "Калина красная" оказались в противоречии, в противоборстве, в антагонизме.

Растерянный, расхристанный по сюжету Егор — благодаря Шукшину-актеру — выглядит на экране чуть ли не философом собственной жизни.

Пропорции резко смещены, и необходимы усилия, чтобы их восстановить.

Может быть, роковую ошибку режиссер Василий Шукшин совершил при распределении ролей, поручив главную роль в "Калине красной" актеру Василию Шукшину?

Или напротив — оказался недостаточно как художник смелым, чтобы решиться на сугубо автобиографический фильм, как, к примеру, Андрей Тарковский в "Зеркале"?

Так или иначе, преувеличенный и идеализированный герой нуждается в трезвой беспристрастной оценке, а ее-то и не оказалось — место автора вынужден занять зритель.

Требуется: отделить роль от ее исполнителя.

Разъединить героя и автора.

Шукшин правдив настолько, что стремление к правде и есть уже самый большой его талант.

Другого таланта у него нет, только этот!

Искусство для Шукшина — это прежде всего правда, а потом уже искусство.

В этом его главный недостаток как художника.

Не только в "Калине красной" — в большинстве своих рассказов и фильмов он позволял главному герою захватить власть и установить над остальными диктатуру. В его произведениях — авторские любимчики и пасынки, а от этого — почти неприличный эстетический перекосяк.

А заодно и нравственный.

Вроде бы стремясь к справедливости и выбирая в главные герои человека подчас и в самом деле обиженного и забитого, Шукшин пытается отвоевать его читательские симпатии за счет других героев, которых Шукшин перечерняет, навешивая на них все смертные грехи.

В произведениях Шукшина резко нарушена нравственная гармония — самим автором, и, чтобы восстановить справедливость, хочется встать на защиту его отрицательных героев.

Зрители и читатели вынуждены корректировать недемократическую структуру писателя.

Позволю себе здесь сослаться на авторитетное высказывание Фридриха Шлегеля: "Это даже не тонкое, а скорее довольно грубое проявление эгоизма, когда все действующие лица романа движутся вокруг одного, как планеты вокруг солнца, причем обычно этот герой большей частью является баловнем автора и становится льстивым отражением восхищенного читателя. Подобно тому, как просвещенный человек для себя и для других является не только целью, но и средством, так и в просвещенном произведении искусства все герои должны быть целью и средством одновременно. Вся структура произведения должна быть республиканской..."

Я всегда на стороне второстепенных, отодвинутых на задний план героев, заслоненных главными. Мне всегда кажется,

что именно за счет них счастливы или выдвинуты вперед главные герои. В "Вишневом саду" мне больше всего жалко всеми забытого Фирса, и это я не могу простить Раневской — весь романтический флер ее образа сведен для меня на нет.

Когда герой "Калины красной" говорит, что он никем больше не может быть на этой грешной земле — только воров, я благодарен Василию Шукшину за то, что он своего отверженного и обиженного героя извлек из литературного небытия и дал ему в искусстве "хлеб и уголь". В литературе, как и в жизни, идет борьба за существование: не писателей между собой — я не о том! — а героев, и я на стороне Золушки и Треплева, Гамлета и Иванушки-дурачка, то есть героев, которые обделены прерогативами, вниманием, симпатией, королевством или наследством. Прав Виктор Шкловский: человек не на своем месте, человек, не могущий осуществить себя, борющийся за свою человечность, за свою полноценность, за место в истории, — это тема искусства. Это вечный конфликт.

Здесь я на стороне Шукшина.

Но когда тот же Шукшин пытается дать место своему новому герою за счет унижения героев прежних, я беру сторону последних.

Авторская жалость Василия Шукшина слишком избирательна. Он откровенно делит своих героев на любимых и нелюбимых.

В "Калине красной" бессмысленная строптивость Егора Прокудина скрашена бескрайней к нему жалостью автора. И получается, что больше всех жалеет себя сам Егор. Жалко ему себя до злобы на весь мир.

Егора и в самом деле жалко — и его пропащую, даром загубленную жизнь, и плачущую, трепетную, крученную, наскипидаренную, остервенелую его душу.

Только брошенную им мать жалко больше: на этом я настаиваю!

Раскаяние не оправдывает человека, мы живем один раз и набело, черновиков в жизни нет, как и индulgенций. Дело

не в уголовном, но в нравственном прошлом Егора — вина его не перед законом, а перед матерью. И снять эту вину никто с него не может, даже он сам.

Неуютно ему на земле, ветрено, сквозно — незащищенно.

Нет у него так необходимого живому человеку иммунитета к опасности.

Егор — не следствие, а причина трагедии. Он с самого начала окружен трагическим кольцом: это человек, который не может найти себя. Человек, который от других требует того, чего нет в нем самом.

Себя ему жалко, других — нет.

Он безжалостен к другим, потому что всю свою жалость истратил на себя.

Про него можно сказать то же, что Лев Шестов про героев Достоевского: по поводу своего несчастья он зовет к ответу все мирозданье.

Это теория "козла отпущения", и автор ее не Егор Прокудин, но Василий Шукшин — и не он один!

Это поиски причины вовне, а не внутри: будто все, что нас окружает (в том числе, государство), не нами же создано, а марсианами — либо евреями.

Апофеоз этой точки зрения — в историческом романе Василия Шукшина, где Егор Прокудин перенесен на несколько столетий назад и назван Стенькой Разиным.

Что касается современного Егора Прокудина, то мир для него чужбина, он чужеземец на земле, пришелец, изгой. За мгновение до смерти он с нежностью и тоской вспоминает о тюрьме — как здесь не сравнить его с "Шильонским узником", который сдружил свою жизнь с неволей — навсегда!

Несвободный человек свободен только в тюрьме.

Ему кажется, что можно убежать от самого себя, хотя дорог таких не существует — позади всадника усаживается его мрачная забота, считал Гораций — и не без оснований.

Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается.

Нет, это не из фильма Василия Шукшина — это очень старые слова из очень старой книги...

Душевная жажда Егора — от душевной пустоты.

Когда-то Ницше сказал фразу столь же безумную, сколь и бесчеловечную — "Человек есть нечто, что должно быть преодолено".

Егор Прокудин пытается преодолеть самого себя — преодолеть в себе человека.

Удастся это полностью не может никому.

К счастью.

Потому что жить — если бы он остался жить — жить Егору Прокудину не с березами, с которыми он так щедро ласков, а с людьми, с которыми он так недоверчив и так бессмысленно строптив.

Всех грызи — или лежи в грязи.

Или — или.

Третьего не дано.

Так думает Егор Прокудин.

Боюсь, что так же думал и Василий Шукшин.

Нравственный урок "Калины красной" в том, что зритель так думать, посмотрев фильм, уже не может.

Смерть Егора Прокудина — это невозможность жить на земле недоверчивым, озлобленным, агрессивным.

Мало любить березки, мало любить жестокие романы — надо любить человека.

Хотя бы одного!

Егор Прокудин пытался прожить без этой любви.

Спасение не в красоте, а в человеке, не в возмездии, а в прощении, не в злобе, а в любви.

Эгоцентрическая ориентация Егора Прокудина противоположна жизни, противопоказана ей.

Страдание искупляет человека, и страдание же озлобляет его.

Василий Шукшин рассказал о трагедии, которая порождена не социальными условиями, но индивидуально-психологическими. Он показал человека, который сам есть зло и который способен породить опаснейшие и чреватые самыми дурными последствиями ситуации.

Увы, сам Шукшин не понял своего героя — потому что не понял самого себя.

Он был слишком горяч и тенденциозен, чтобы быть еще и справедливым, а тем более — объективным.

Правду он ставил превыше всего — даже выше искусства: она порою прямо-таки торчит, высовывается из его фильмов и книг.

Превыше правды стояла у него только страсть.

Страсть застилала ему глаза, и он ничего не видел окрест и ничего не понимал.

И страсть эта была — ненависть.

А аргументация ее была такова — помните безумного Лира:

Я не так

Перед другими грешен, как другие —

Передо мной.

Чем не оправдание для любого — самого жестокого — уклонения от гуманизма?!

Но у короля Лира хватило мужества и ума поймать себя на игре в поддавки, на демагогии, на эгоизме: утвердив минимум своей грешности, он через несколько минут корректирует свою мысль — уже не умом, скорее, совестью:

Мой бедный шут, средь собственного горя

Мне так же краем сердца жаль тебя.

Вот этого "края сердца" и не оказалось у шукшинских героев в наличии...

А так же и у Шукшина.

В плане художественном это определило слабость его концептуальных построений — по сравнению с натуралистическим фактографом. У Шукшина хватило честности дать читателю в том числе и объективный материал против своего героя.

Егора Прокудина жалко, но в большей мере он страшит.

Я боюсь его обиды на жизнь — обида его стимул и его credo, а обида хуже злобы, она разнонаправленна и не разбирает правых и виноватых, а ищет точку приложения для своих непочатых энергетических ресурсов.

Мужество Василия Шукшина в том, что он избрал весьма трудные для любви объекты, ибо чем человек отверженнее, тем труднее его любить.

И тем больше он в любви нуждается.

Человек — любой! — имеет право на сочувствие, ибо agnos — со fratrem, узнаю себе подобного.

И самое трудное узнать себе подобного в том, кто на тебя не похож: во враге!

Возможно, у меня сейчас не хватает таланта на такое узнавание.

Наверное, я не менее тенденциозен, чем Шукшин.

Одно я знаю точно: справедливость — это не только возмездие, но и одновременно милосердие.

Может быть, даже прежде всего милосердие, а потом уже возмездие.

Как ни велика роль внешних обстоятельств, судьба человека в нем самом — есть же Бог на свете, черт побери!

А Шукшин, разбирая беду — частную или всеобщую, человека или этноса, искал ее причины вовне, а не изнутри.

Козлом отпущения он избрал государство, взвалив на него всю тяжесть ответственности за бедственное положение современного человека.

Государство он рассматривал как сугубо внешнюю, абстрактную и анонимную силу — будто бы оно не является производным человека, народа, истории!

Он снял вину со своего героя, возложив ее на государство.

И в самом деле, привел примеры страшные, жестокие и убедительные.

Я не знаю, на каком уровне Шукшин сталкивался с государством и почему оно сидело занозой не только в его печенке, но и глубоко в сердце, — цензурные условия были таковы, что он смог назвать несколько представителей государства, самых низших, но и самых влиятельных в глазах маленького человека, ибо страшнее кошки зверя нет — для мышки!

Вот три этих страшных зверя — бюрократ, продавщица, вахтер!

Люди, которые выступают от имени государства и с именем государства на устах, вершат свои дела.

По своей природе и должностной номенклатуре они тоже маленькие люди, супермаленькие, и у них тоже на сердце

обида, и именно эта обида сублимируется и реализуется в виде хамства, ибо нет хуже тирана, чем раб!

Свой среди своих, Шукшин знал своим цену. У него было типичное лицо — его узнавали на улице, но долго не могли вспомнить, где видели: на севере, куда ездили за длинным рублем, или в отделении милиции, или в подворотне, где раздавили одну на троих и тянули из горла?

Таким сейчас труднее всего. В магазине, в парикмахерской, в очереди, в бюрократической конторе — ежедневно, ежечасно ему приходилось сдавать экзамен на право быть человеком и получать пайковый минимум жизни — кулек апельсинов или справку от врача. Куда ни шло еще интеллигенту, хотя и он хватается за сердце, услышав вежливый бюрократический отказ или отборную ругань продавщицы. Своего они ненавидят больше — отмежевываются от него, заматают сходство, мстят за собственное унижение.

Взаимной агрессии Василий Шукшин дал односторонний анализ.

Шукшин написал о смертельной обиде совершенно бесправного человека, у которого всего-то и есть достоинство, но и оно попрано, растоптано, уничтожено!

Шукшин и сам держал на сердце Обиду. Он написал рассказ "Ванька Тепляшин" о том, как не пропускают в больницу мать к сыну, потому что не приемный день, и как оскорбленный Ванька Тепляшин пускает в ход кулаки, потому что может он иногда — когда доведут — соскочить с зарубки. И рассказа этого Шукшину показалось недостаточно, и он написал еще "Кляuzu" и опубликовал ее в "Литературке" — буквально за несколько дней до смерти.

"Кляuzu" — это не рассказ. Это ябеднический документ. Отчет об инциденте в больнице: к больному Василию Шукшину не пустили друзей — вологодских писателей Василия Белова и Виктора Коротаяева. Мало того, что не пустили — еще и жестоко обхамили всех троих. Василий Шукшин честно обо всем этом написал, а в заключении привел "кляuzu", которую его товарищи послали главному врачу клиники.

О, это ябедничество, русская наша неизлечимая болезнь — какие там лекарства, ничего не поможет и помочь не может — увы, увы, увы!

Крик о помощи — подметные письма: в газету, в ЦК, в ООН...

Вроде бы, старая, как мир, тема. Кто главный человек в России? Околоточный — без тени сомнения отвечал Чехов. Знал ли об этих словах советский писатель Василий Шукшин?

Ему было недостаточно искусства, и он шел напролом: пытался документально обосновать и свою тревогу и свою обиду.

Вслед за Сухово-Кобылиным он мог бы сказать, что писал с натуры. И такое даже ощущение, что искусство ему мешало — он не хотел посредников между реальностью и читателем. И остро, болезненно ощущал недостаточность имевшихся в его личном владении художественных средств, Шукшин решительно пересекал демаркационную черту, отделяющую искусство от действительности, и говорил на языке самой жизни.

Он не был художником в полном смысле слова, а был, как и его герои, чудиком, придурком, охламоном — отечественный наш тип правдоискателя.

Правда в его прозе приобретала значение политического факта, а соответственно — художественного.

Он ввел в литературу кляuzu, жалобу, обиду.

И Обида растекалась по его прозе и по его фильмам и окрасила их кровью.

Сдерживаемый оптимистическим уставом нашей литературы и цензурным ее существованием, он смог реализовать трагическое свое сознание только однажды — в историческом романе о казацком атамане Стеньке Разине.

Пожалуй, трудно назвать шукшинского Стеньку Разина историческим героем — уж очень он похож на обычных, сегодняшних героев Шукшина, такой же он "крутой, гордый, даже самонадеянный, несговорчивый, порой жестокий, — в таком-то, жила в нем мягкая, добрая душа, которая могла жалеть и страдать".

Привожу шукшинскую жалостливую характеристику — увы, по прочтении романа согласиться с ней невозможно.

Обычный шукшинский характер, психологический стереотип, перенесенный в прошлое, чтобы проверить в большом масштабе его склонности и потенции — что же сумеет сделать этот герой, если выпустить его на исторический простор и дать ему волю и перспективу?

Увы — в плане положительном: немного.

В плане негативном — море крови: выброс персидской княжны в набежавшую волну — самый невинный его поступок.

Шукшин написал резко и решительно антигосударственный роман. Первое, что делал, захватив город, Стенька — жег бумаги — это ненависть не только к бюрократизации русской жизни, но и к цивилизации вообще. Какая к черту цивилизация, когда вслед за бумагами Стенька садистски, зверски расправляется с властью предержащими, не делая исключения ни для женщин, ни для детей — и изуродованные трупы плыли по Волге. От черных сцен этого романа волосы встают дыбом — чудовищная, бессмысленная жестокость Стеньки повергает в ужас даже его ближайших соратников. Да и что такое цивилизация для России? Это отрыв от средневековой ее истории, которая протянулась аж до середины XX века, приостановленная — надолго ли? — в знаменательный день 5 марта 1953 года. Какая там цивилизация — ату ее! на свалку! в музей, курву!

Стенька Разин в обрисовке Шукшина — бандит, припадочный, садист, изверг, изувер. И тем не менее Шукшин берет его сторону.

"Государство к тому времени уже вовлекло человека в свой тяжелый, медленный, безысходный круг: бумага, как змея, обрела парализующую силу!"

Поразительно, что исторический сюжет романа разворачивается во времени Алексея Михайловича, царя доброго, милосердного, либерального — словно не утолен народом голод по жестокости, и стоит государству ослабить полицейские функции, как этот недобор немедленно восполняет

сам народ в лютой, неумной и неутоленной ненависти, тоска по резне. Стенька иногда жалеет мертвых — к живым он непримирим:

— Руби их там, в гробину их! Кроши подряд! За ребро, на крюк! Отворяй им жилы! Цеди кровь поганую! Сметай с земли!..

Стеньку не унять, нет на него укороту, он себя и свою жизнь не жалеет — опостылела ему жизнь! — а тем более других. Он льет кровь вдохновенно и безудержно — поверх смысла, поверх прямой надобности, поверх жалости, чтобы положить конец собственным сомнениям.

Случай, скорее, медицинский, патологический — не разумное действие, но хворь, приступ, припадок, дьявол во плоти! И тем не менее Шукшин подпадает под "жестокое обаяние Разина" и пытается убедить в нем читателя. Что ему, слава Богу, не удастся. Не только потому, что его роман о Стеньке Разине, написанный по следам неосуществленного (не разрешили!) фильма, — неудачен. Прежде всего потому, что правда исторического факта и авторская идеологическая установка оказались в резком противоречии. Ведь тот же Пушкин не только опасался увидеть жестокий и бессмысленный русский бунт, но и недвусмысленно, трезво и горько замечал, что в России правительство — самая цивилизованная часть народа, и цивилизуется оно поневоле, по нужде, независимо от желания, а чаще всего — супротив его. Потому что, если даже обезьяну посадить на трон и напялить на ее башку царскую корону — она и то задумается об исторических судьбах своих диких сограждан!

Отнюдь не идеализируя русское историческое государство — вплоть до теперешних дней! — я считаю упрощением валить на него все грехи.

А тем более делать вид, что оно свалилось в Россию с неба, а не является прямым следствием этических качеств русского этноса.

Шукшин был средним художником и небольшим мыслителем.

В связи с внезапной его смертью, кинопопулярностью и посмертным приспособлением к идеологическим нуждам Русской партии, образ Шукшина бронзовеет и представление о нем — при отсутствии политической гласности, сумбужности литературных критериев и традиционном русском вождизме (даже в литературе!) — искаженное и неузнаваемое: по сравнению с оригиналом.

Его зачислили в классики слишком скоропалительно, чтобы это зачисление считать оправданным и законным.

Он был обращен к миру тревожной, вопросительной фигурой, и это его беспокойство восполнило недостаток его таланта.

Выбор героев происходил у Шукшина по сугубо личным причинам — по аналогии с собственными раздумьями о жизни.

Кто на кого похож — герои на автора, или автор на героев?

Вот в чем причина самоличного появления в своих фильмах в качестве актера!

"...Единый по существу, тройственный ипостасями".

А всерьез и полноценно рассказал о себе Шукшин только однажды — в рассказе "Штрихи к портрету. Некоторые конкретные мысли Н.Н. Князева, человека и гражданина".

Николай Николаевич Князев, живя в райгороде и ремонтируя телевизоры, исписал восемь общих тетрадей своими мыслями о государстве.

"Государство — это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причем, этажи постепенно сужаются, пока не остается наверху одна комната, где и помещается пульт управления.

...Представим себе это огромное здание в разрезе. А население этажей — в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, все здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже — "х" — уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие: перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получают дополнительную нагрузку: закон справедливости нарушен..."

Шукшиным схвачена важная черта современной России — доморощенное русское правдоискательство, политически акцентированное и заостренное. Для окружающих такой правдоискатель выглядит безумцем — и к нему соответственно относятся.

Между прочим, этот рассказ Шукшина был воспринят, скорее, иронически, чем всерьез — еще один чудик! Я видел несколько его инсценировок — Николай Николаевич Князев вызывал в зале дружный смех. В статье в "Правде" у меня вычеркнули цитату из этого рассказа, удивившись, что я принимаю этого героя всерьез. Так обезвреживаются на Руси правдоискатели — испокон веков...

А между тем отечественное искусство, обнаружив в народе тетрадную эту манию, отнеслось к ней с полным вниманием.

Вышел на экраны самый острый советский фильм "Премия" — там бригадир Потапов, придя в ужас от бардака на стройке, где он работает, приносит в партком свои тетрадки — с более локальными, чем у Князева, но не менее страшными наблюдениями.

У Бориса Слуцкого есть свой Николай Николаевич Князев — в стихотворении "Косые линейки" (привожу с сокращениями) :

**Косолинейная — в стиле дождя —
ученическая тетрадка.
В ней сформулировано кратко
все,
до чего постепенно дойдя,
все,
до чего на протяжении
жизни
додумался он,
что нашел.
В ходе бумажного передвижения
это попало ко мне на стол.**

...Я постараюсь ужю,
чтоб Москва,
Я поработаю,
чтобы Россия

**тщательно прочитала слова,
вписанные в линейки косые.**

Собственно, забота Василия Шукшина о том же — он хочет, чтобы мысли государственного человека Николая Николаевича Князева узнала Россия.

Увы — лбом об стенку!

Кто из них наивнее — Николай Николаевич Князев или Василий Макарович Шукшин?

Приключения человека и гражданина Н.Н. Князева печально завершаются в отделении милиции, куда его отводят предусмотрительные сограждане, препятствуя совершенно легальному его поступку, — посылке восьми злополучных тетрадей в центр. Последняя глава этого трагического рассказа называется "Конец мыслям".

Мыслям и в самом деле конец: стопочка тетрадей, на которые Князев потратил семь лет, исписав их своими раздумьями о государстве, — на столе у начальника милиции.

Политический поиск Н.Н. Князева бюрократически пресечен, резко, на полном ходу, заторможен — конец перспективе!

Начальник милиции раскрывает первую тетрадь, которая начинается с "описи жизни" автора.

"Я родился в бедной крестьянской семье девятым по счету... Проблески философского сознания наблюдались у меня с самого детства. Бывало, если бригадир наорет на меня, то я спустя некоторое время вдруг задумаюсь: "А почему он на меня орет?" Мой разум еще не мог ответить на подобные вопросы, но он упорно толкался в закрытые двери... Так постепенно я весь проникся мыслями о государстве... Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения.

И я, разумеется, стал писать. Я не мог иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям".

К сожалению, и это не помогает.

А сколько тетрадок исписал Василий Шукшин?

Восемь?

Восемь с половиной?

Судьба его все-таки трагическая — внезапная смерть в сорок пять лет. Один в поле не воин, он не выдержал напряжения борьбы за истину, за ее жизненный минимум, который не ко двору, но без которого — никак!

Мания правдоискательства привела его к острой сердечной недостаточности: он умер на съемках чужого фильма.

Ну, разве ему не повезло?..

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

"LA PENSEE RUSSE"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ**

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.

Цена в розничной продаже — 6 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.



ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Дора ШТУРМАН

МОЯ ШКОЛА

СЕМЬЯ

Детство мое, вполне городское, сложилось так, что заботы и несчастья села коснулись меня очень рано и чувствительно.

Отец мой, главный врач одной из больших украинских городских больниц, в 1933 году тяжело заболел душевно — после того, как всю зиму пытался спасти по окрестным селам умиравших от голода детей. Часть из них, высохших, как скелеты, или распухших, как утопленники, неделями оставалась в нашем доме, в кабинете отца, пока ему не удалось пристроить их в лечебницы и детдома. Потрясение усугубилось для отца тем, что его как раз в то время начали без конца, на целые ночи, вызывать в Запорожское ГПУ.

Чекагебисты требовали, чтобы он, уважаемый и любимый в городе врач, беспартийный, но очень активный общественно человек, стал осведомителем: тогда изымали у населения золото, преследовали врачей за частную практику и т.п. Он отказался. Возможно, неприятности предопреде-

лились и его вмешательством в сельские дела. Он заболел. Ему угрожали арестом, рисовали нас и мать голодающими. Мать была много моложе его и очень хороша собой. Он по ночам повторял непрерывно: "Они выгонят тебя на панель, а детей заставят нищенствовать". Может быть, мы виделись ему и в детях, лежавших в его кабинете с заплывшими от зеленых отеков глазами.

У него был брат, ответственный киевский коммунист, которому он доверял и которого в письмах и телеграммах умолял приехать и попытаться урезонить его преследователей, защитить его жену и детей. Моя мать написала деверю о болезни отца, о том, что ГПУ от него уже как будто бы отстало и что приезд брата мог бы вернуть ему душевное равновесие. Ответственный коммунист телеграфировал, что до своего возвращения с х л е б о з а г о т о в о к — было это весной 1933 года — он приехать не сможет. 12 мая 1933 года отец мой, казалось бы, совсем успокоившийся и здоровый, покончил с собой.

Летом 1936 года его брата арестовали. Перед арестом он был у нас, растерянный, недоумевающий, чужой в собственной своей семье (его жена и дочь потом не поддерживали с ним, заключенным, связи). В 1947 году он освободился; в 1948 мы встретились, оба после лагеря. Я упрашивала его поехать в наше беспаспортное Князево, где людей не слишком спрашивали, кто они и откуда. Он же поехал в Москву, к Сталину, — со списком примерно двухсот невинно осужденных коммунистов, встреченных им в лагерях. Его арестовали повторно, и он умер в лагере, в начале 1950-х годов. В 1937 году ему как-то удалось передать жене из тюрьмы клочки бумаги с описанием приемов "следствия" и вообще того, что делают на Украине со старыми коммунистами.

Жена его принесла это письмо, адресованное, конечно же, Сталину... мне, четырнадцатилетней девчонке, — спрятать. Мама увидела его у меня и отобрала. Но потрясение было неизгладимым: я до сих пор помню куски из того письма. В 1956 году мой дядя был посмертно реабилитирован — вместе со всеми теми, чьи фамилии он вез Сталину.

КНЯЗЕВО

Итак, моя жизненная дорога пересеклась с судьбой украинской деревни довольно рано. И все-таки трудно было придумать что-нибудь менее похожее на мой довоенный домашний опыт, чем жизнь, в которую я погрузилась, оказавшись в деревне — не на даче, как часто бывало в детстве, и не на "прополочной" или "уборочной", как в годы студенчества, а сельской учительницей. Разве что лагерь мог поспорить в этом смысле с деревней, но и то — не во всем...

25 августа 1948 года попутный грузовик привез нас в село, отстоявшее от ближайшей железнодорожной станции на тринадцать километров. Нас высадили из кузова с годовалым ребенком и с двумя потертыми довоенными чемоданами, и мы остались одни в непроницаемой темноте безлунной и бесфонарной облачной ночи. С трудом отыскав отведенную нам под квартиру хату, мы постучались. Хозяйка открыла, зажгла каганец из снарядной гильзы.

Каганец разогнал тьму по углам, и мы увидели свое жилье. Это была квадратная комната с глиняной доливкой*, с маленькими кривыми оконцами, со вспученными сырыми стенами. У одной стены стояла деревянная лавка, у другой — стол и две табуретки, у третьей — кровать с соломенным тюфяком. Здесь нам предстояло прожить три года. Хозяйка с тремя детьми осталась в "хатыне" — так называют в этих местах Украины кухню. Мария, хозяйка, была солдатской вдовой. Она ходила в "ланку", в звено, на рядовые работы. Старшая дочь ее работала в лавке, в райцентре, и приезжала домой только на выходные дни. Пару раз в месяц Мария, рискуя попасть в тюрьму за спекуляцию, отпрашивалась у бригадира, ехала к дочке и привозила в село "дефицит": спички, нитки, стиральное мыло, дрожжи, хамсу, карамель, синьку, изредка даже ситец, за которым сбегалось чуть ли не

* Доливка (укр.) — глиняный пол, который надо постоянно смазывать глиной и навозом, чтобы он не крошился под ногами и не вздымался тучами пыли.

все село. Продавала, беря с соседей "плату за страх", и так кормила детей, покупала сено корове и собирала деньги на какое-никакое жилище в городе. Была она темнолицая, худенькая, всегда в темной кофте и черной юбке, в платке, надвинутом до бровей, неутомимо подвижная и хлопотливая.

Я не сразу поняла, с какой находчивостью и изворотливостью она боролась за жизнь. За нас ей платили ничего не стоящие пятьдесят рублей, но учителям время от времени давали для топки то воз соломы, то "гарбу"* подсолнуховых стеблей, которые надо было привезти с какого-нибудь Богом и людьми забытого поля. И наше топливо помогало Марии с детьми скоротать холодную зиму.

Через год Мария купила полдомика в пригороде, умилировала всех, от кого зависела, выправила себе и старшей дочери паспорта и тем спасла детей от колхозной недоли. Село наше было непаспортизованным, то есть, фактически крепостным, до середины 1950-х годов; потом стало легче добиться паспорта, но без хлопот все же не обходилось. Самогон Мария гнала непрерывно — из свеклы, которую ночью носила с колхозного поля, хотя сама и в рот его не брала: как бы выжила с детьми без него?

В Князеве я впервые столкнулась с той повальной пьянкой, которая составляла и составляет одну из основ сельского мужского существования. Самогон гнали почти в каждом доме. Занимаются этим те же бабы, которые от пьянства мужей так жестоко страдают, потому что, не будь самогона, мужики пропились бы на казенной водке с ее чудовищной спекулятивной ценой дотла. Даже сахарный, самый дорогой самогон в несколько раз этой водки дешевле. В Князеве (и только ли в Князеве?!) мужние жены поили самогоном своих супругов; вдовы же гнали первач для колхозных "придурков". По горькой неволе, солдатские вдовы составили своеобразный гарем для председателей колхозов, бригадиров, кладовщиков, учетчиков... Мария в этом смысле была исключением. Может быть, потому, что умела "крутиться" иначе. А может быть, оттого и приходилось ей так изворачиваться,

* Высокий, четырехколесный, с перилами вдоль боковых бортов воз.

ваться, что не пускала ночами в хату возможных "спасателей": предпочитала откупаться первачом.

От "придурков" тогда зависела жизнь и смерть безмужней семьи — выпас, покос, лошадь для поездки на мельницу или за песком и глиной для срочного ремонта хаты, жалкие крохи строительных материалов, топливо, разрешение детям уехать из колхоза учиться или работать в город — всего не перечислить... Да и одиночество гнало к кому-нибудь прислониться... Рядовым мужикам не до адюльтера было в те тяжкие годы: прокорм и обогрев обносившейся, полуголодной семьи отнимал все силы. А бригадирам, кладовщикам, бухгалтерам жилось повольтотней. Впрочем, на рядовых работах мужчин почти не держали: там управлялись бабы...

Немногом легче жилось и учителям. Все те выживательные маневры, которым училась я у соседок и у коллег-учительниц, стали мне доступны не скоро. А в первую зиму ребенка укладывали под одеяло в чулках и в пальтишке и досыта наедались редко. Не сразу я наловчилась выбирать из подмерзшей грязи оставленную колхозницами сахарную свеклу, не сразу привыкла мотаться по соседним колхозам с просьбами "выписать", то есть продать по твердой цене то зерна немного, то постного масла.

Не мудрено, что до первого нашего огородного урожая, до первых собственных кур, до рыболовных снастей, до первого выкормленного поросенка мы оказались в долгу, как в шелку.

Очень хотелось кормить семью сытно, и я без конца должала Марии за ее "дефицит", за молоко, за яйца, за картофель и лук...

Как-то купила я у соседки, как показалось мне, по дешевке, десяток большущих тыков (гарбузов — по-местному), сложила их в холодных сенях. Спросила Марию, не померзнут ли. Она сказала, что нет; мне и самой казалось, что нет: что им сделается, таким твердым, толстокожим, словно навек созданным? А когда внесла одну после мороза в хату, она оттаяла и поплыла: раскисла после "глубокого замораживания"... И пошли они все хозяйкиной Зорьке.

Детского сада в Князеве не открывали (стариков было больше, чем малышей). Дочку я оставляла с хозяйскими детьми. Один раз они обкормили ее головками от хамсы: они лакомились хамсой за столом, она, двухлетняя, под столом подбирала головки, бросаемые щедрой рукой семилетней Ленки. Другой раз та же Ленка до отвала накормила ее арбузными семечками, которые Мария сушила на весну, для бахчи. Тоже едва не кончилось плохо. Не раз приходилось нести ее, тяжело больную, пешком за тринадцать километров на станцию и оттуда везти в больницу.

Уезжая, Мария продала сельсовету свою полуразрушенную хату с сараем и погребом. Мы остались на месте — квартирантами уже сельсовета, а не ее.

В первое, на диво теплое, влажное и урожайное лето своей самостоятельной сельской жизни в почти собственной хате я охмелела от буйного роста съедобной и несъедобной зелени, обступившей нас. Наш огород шел от хаты полого вниз, к широченной пойме реки Попельной, обмелевшей, узенькой кое-где, как ручей, но в сохранившихся плесах и омутах, рыбной, как в сказке. Поставить венгеря, в Князеве говорили "ятеря" поздно вечером — утром ходят из стороны в сторону от разной рыбы: линей, карасей, окуней, щуки... К весне мы обзавелись простыми рыболовными снастями, и голод стал отступать. За утро я успевала нажарить рыбы, накормить семью, остаток снести на базар, за тринадцать верст, продать, купить буханку черного хлеба и пол-литра постного масла и прийти на работу, на вторую смену.

На краю огорода курчавился полудикий вишенник и терновник, едва отравивший после введения знаменитого "зверского" налога. Тогдашнему министру финансов Звереву приписывался селом (или, действительно, принадлежал, не знаю) введенный после войны налог на косточковые деревья и ягодники, колхозные и приусадебные. А были эти вишенники и терновники и даже грушки и яблоньки совсем не "товарными" и уж налога никак бы не окупил. Поэтому в Князеве "списали" как выродившийся и поспешно вырубил

огромный запущенный сад, оставшийся еще от княжеской экономии, давшей название селу. Кто мог его убирать? Чем вывозили бы ягоду? Пока паслись на ней дети, а власти о саде не вспоминали, — стоял и стоял бы. Но налог за него платить? Такого колхоз позволить себе не мог.

Рассказать бы потом о князевском "Вишневом саде" моим слушателям на курсах и старшекласникам — в параллель рассказу о чеховском... Но был бы это последний урок для учителя, рискнувшего провести параллели.

По весне 1950 года совсем уже нечем было кормить на фермах скотину. Весна началась неожиданно рано: вдруг потеплело, сошел снег, сбежали в Пепельную ручьи, в полях, где снег тает поздней, чем в селе, кое-где обнажились не убранные с прошлого года стебли кукурузы. Решили отогнать голодное стадо туда: пусть объедают сухие листья. Убирать стебли и возить их на ферму было некому и не на чем. Стадо погнало по солнышку и за ветром. Коровы легко дошли и принялись пировать. Вдруг потемнело, налетел ветер, и началась отчаянная мартовская метель, без которых обходится редкий март в этих местах Украины. Стадо попытались погнать к селу, но оно не смогло двигаться против ураганного ветра с колючим снегом: слишком ослабло за зиму... Коровы стали проваливаться сквозь снег по брюхо в черноземную грязь (доярки сбились с дороги и гнали их пашней). Мороз быстро усиливался, и скоро в село долетел сквозняк утихающий уже ветер отчаянный, смертно тоскливый рев: животные вмерзали в быстро густеющий чернозем. Все бросились в поле, за пять километров от края села, но что могли сделать? Попытались спасти хоть мясо для госпоставки: мертвым и умирающим животным резали глотки, спуская кровь в снег. Пригнали огромного першерона Фрица, запряженного в сани с двумя прицепами. Тяжелораненым Фрица бросили в Князеве при отступлении немцы. Князевские конюхи его выходили и кормили в самые трудные дни почти досыта: он работал безотказно, за десятерых, был умен и покладист, но заставить его свернуть на дорогу, где его ранили, никак нельзя было: поворачивался и шел в конюшню. Он и сейчас

был неспокоен: конюхи с трудом держали его, пока нагружали вырубленные из грязи туши на оба прицепа. Нагрузили, Фриц сдвинулся с места, прошел несколько метров и рухнул мертвым.

Надо знать тогдашнюю обстановку в селах, помнить, что за горсть колосков, унесенных с поля после уборки, могли осудить по "Указу"* на 10 лет, чтобы понять многогранный ужас этого происшествия. Вечером по хатам ходили два председателя: колхоза и сельсовета — и, скинув шапки, с низким поклоном говорили: — Помогите, добрые люди. Не гоните в тюрьму — не дайте детям осиротеть. И добрые люди помогали: каждый дом, где были теленок или корова, что вот-вот отелится, отдавал теленка в колхозное стадо, а молоко обещали сдавать в тот год и за себя, и за колхозную ферму, не оставляя дома уже совсем ничего... Надо было спасти председателей: оба "головы" были свои, князевские... Правда, "головы" обещали возместить долг, как только колхоз оправится от потери, — но когда это будет? И будет ли? По-видимому, катастрофу хотело скрыть и районное начальство — от областного: кто знает, что бы еще и ему "пришили"? Без согласования с райкомом князевцы бы не выкупились. А так — обошлось без обычной тогда расправы: очень уж страшно было райкому и райисполкому признавать в гибели чуть ли не ста коров...

Председатель нашего сельсовета, прозванный Васильком, — потому ли, что звали Василием, то ли за невыцветающие голубые глаза — мужик лет сорока пяти, бывалый, ломаный, битый, инвалид Второй мировой войны, был талантливым юмористом и величайшим комбинатором, как, впрочем, все устойчивые сельские "головы", вечно крутившиеся между наковальней голодающего и ворующего поневоле и райкомовским молотом. Помню, как он говорил комсомольцам-

* Указ от 7/VIII-1934 г. — о жесточайшей уголовной ответственности за расхищение и уничтожение социалистической собственности (вплоть до расстрела),

колхозникам на своем классическом "руководящем" "суржике" *, с плохо скрытой грустноватой иронией:

— Ну, добре, ну, хай ваши батьки полжизни прожили при своих хозяйствах, при полном закроме, — им неохота робить за "палочку". Но вы-то! Вы-то ничего, кроме "палочки", сроду не видели! Какого дидька вы от работы прячетесь? Где ваша сознательность?!

БУДНИ

Перед самой войной в Князеве была построена кирпичная семилетняя школа, с большими классами, с учительской, с деревянными полами, конечно, с печным отоплением, с керосиновым освещением: в Князеве не было ни электричества, ни радиосети.

Отступая, немцы школу сожгли. Остов ее повредило снарядами. Большую часть кирпича и щебня растащили на собственные нужды колхозники: стройматериалами Князеве никто не снабжал.

В 1948-м году семилетняя школа размещалась в двух тесных хатах, в одной из которых находилась еще и учительская, больше напоминавшая шкаф, чем комнату. В этом "шкафу" сидел деловод, стояла школьная "библиотека" из сотни-другой случайных потрепанных книг, размещались директор и завуч и коротали перемены мы.

Керосиновые лампы на последних уроках второй смены гасли от недостатка кислорода в воздухе. Полы были глиняные, подновлялись один раз в неделю и сбивались детскими каблучками в прах: тучи пыли стояли на переменах в воздухе. Классы отапливались теми же подсолнухами и той же соломой, что и наши хаты; в морозы густели чернила в чернильницах, дети сидели в верхней одежде, по трое за партией. Но

* "Суржик" — зерновая смесь ржи и пшеницы; на Украине так называют смешанный русско-украинский говор, очень распространенный в сельских руководящих кругах, в пригородах и в пограничных с Россией районах.

дети жили с рождения в подобных условиях; учителя пришли из тех же сел, как и Князево; все это было после войны, так что воспринималось и учителями, и детьми, и родителями как нечто естественное. Школу любили и мы, и дети; в ней проводили не только рабочее время, но и свободное.

Мешал нам работать, учиться, читать, думать и жить не только тогдашний тяжелейший быт. Мешала нечеловеческая занятость делами ненужными и к школе по сути своей не относящимися. Вспоминается: вечер, метель, снегу по колено — идем в контору колхоза на открытое партийное собрание, явка для учителей обязательна. Приехал инструктор райкома, громит правление за падение продуктивности свиноматок на ферме: мало приносят поросят в один опорос. Совершенно серьезно обращается райкомовский деятель к учителю-агитатору, прикрепленному к свиноферме: "А вы, товарищ учитель, куда смотрите? Почему у вас падают опоросы?" Учитель мнется, заикается, объясняет, что газету он выпустил, политинформации со свинарками проводит вовремя, с неграмотными занимается — словом, для повышения плодovitости свиноматок делает все, что может. Тем не менее в резолюцию вносится предложение райкомовца — обязать учителя имярек способствовать увеличению плодovitости свиноматок на ферме.

Даже привыкшая к райкомовской логике наша аудитория покатывается со смеху. Назавтра в учительской шуточкам нет конца, а бедный коллега наш огрызается: "Вам хорошо, а мне теперь по три дня в неделю торчать на ферме" (все "торчали" на закрепленных за ними "агитучастках" по два дня, а ему, проморгавшему повышение плодovitости свиноматок, день прибавили).

Отказаться от "агитаторства", от проведения выборов, от участков в поле, от бесплатных занятий с неграмотными, от бесчисленных партийных, обязательных для всех беспартийных учителей повинностей никому и в голову не приходило: заедят, затаскают по району и райкомам, по бюро, сессиям, по групповым и индивидуальным накачкам. Но не только в этом была причина удивительной, на первый взгляд, покорно-

сти массы людей, выполнявших (с трудом: за счет сна и отдыха, во вред работе, в ущерб семье) эти повинности, утомительные и зачастую бессмысленные. Было еще и внутреннее убеждение, что государству без этого не обойтись, и, следовательно, надо напрягаться и выполнять его требования. Может быть, поэтому выполнялись неплохими, в общем, людьми и поручения в прямом смысле слова бесчеловечные.

Никогда не забуду, как коммунисты, сельские активисты, служащие и учителя "ходили по займу", то есть убеждали колхозников расписаться под обязательством "одолжить государству" весь тот жалкий денежный заработок, который выписывал им за год колхоз — 15—20 "старых" копеек на один трудодень. Колхозник ждал этих денег, каждый раз почему-то не теряя на них надежды, и спасал их от займа упрямо, изворотливо, но всегда безуспешно... До сих пор не могу понять, почему заем не отбирался у людей автоматически. Зачем вымогалась собственноручная подпись колхозника под грабительским обязательством, часто даже не подпись, а крестик неграмотного? Причем вымогалась хотя и без рукоприкладства, но почти с таким же маниакальным упорством, с каким выжималась в ту пору подпись подследственного под самооговором или доносом, выступавшими в качестве протоколов следствия... Человек убегал из дома и скрывался у родственников в другом селе. Он запирался и делал вид, что его нет в хате. Вдовы-солдатки были смелей мужчин и прямо отказывались поставить подпись. Их брали измором: у них сидели днями и даже ночами (ручаюсь за истинность этого). Их уговаривали, им объясняли, для чего нужен заем, что такое война и как хорошо живут они и их дети при советской власти, которую надо поддерживать займами из года в год. Им грозили, что не дадут попаса или покоса, что лишат пособия на сирот, если оно у них было, что не выпишут топлива и леса для ремонта хаты, что не дадут соломы на голую крышу, взамен той, что съедена в этом году коровой. Они плакали, но боролись. В конце концов "добровольную" подпись из них, как правило, все-таки выжимали.

Все учителя в этом участвовали. Жалость, неловкость, всевозможные уловки для избежания походов "по займу"

были; но сомнений в том, что заем — выживательная необходимость для советского государства, и надо его обеспечить любой ценой, мне кажется, не было. Сознание этой необходимости внушалось и детям — тем убедительнее, чем красноречивее был учитель. Красноречие только усугубляло обман, обволакивающий детей с пеленок. Воспитатель, искренне расположенный к детям и верящий в истины, которые он проповедует, внушает им ответственное расположение. Он надежно обеспечивает доверие школьников к псевдоистинам и порочным критериям, в которые верит сам. В этом смысле он куда страшнее недоброго, или невежественного, или неумелого учителя, которому дети не верят. Отрицание советского порядка как такового пришло ко мне значительно позже, а потому я многое могла оправдать из того, чего оправдывать перед учениками никак не следовало. И дети мне верили безоговорочно.

Правда, были вещи, оправдать которые перед собой и детьми не удавалось никакими "общими" и "высшими" соображениями, никакими "частными" искажениями и "ошибками". Так, не удавалось мне оправдать никакой коммунистической казуистики ни для себя, ни для других той антисемитской кампании, которая началась в 1948-49 годах. Не к чести мне, конечно, что займы оправдывала, а это — нет. Но было именно так, а не иначе: займы оправдывались в моих глазах войной, разрухой, строительством коммунизма. А чем можно было бы оправдать воскресающий в коммунистическом государстве через три года после катастрофы европейского еврейства расизм? Ничем. И поэтому положение оказывалось тупиковым.

Я старалась рассказывать детям о нацизме, о катастрофе, о евреях, о их судьбе. Старалась нарисовать свой тогдашний идеал: мировой коммунизм без расовой и национальной розни. Детям это нравилось. Вероятно, с такой же легкостью другой любимый учитель, используя газетные материалы, внушил бы им диаметрально противоположный взгляд на вещи...

В городах атмосфера быстро сгущалась, но в далеком селе, где не было курсирующих между деревней и городом рабочих-поездников, ничего не менялось. Газеты читались там нерегулярно, евреев почти не было, имелось много своих тупиково-тяжелых забот. Сельскому, да и районному начальству долго было не до "космополитов": его "идеологическая" работа сводилась к выполнению поборов, поставок, налогов и прочее. Но когда объявили о "деле врачей", дрогнули и самые дальние села. Я не могла защищаться от посыпавшихся на меня вопросов ни одной из выручавших раньше концепций: "частных ошибок", "локальных" недостатков, "искажений" верховной воли: директивный характер этой погромной кампании был очевиден.

С учителями-приятелями я говорила обо всем откровенно. Поскольку второго срока я не получила, делаю вывод, что я в них не ошиблась. Но задавали вопросы и старшие ученики. Что было делать с учениками — мне, только-только вернувшейся из тюрьмы, имевшей маленького ребенка и мать, с трудом пережившую мой арест? И тетради в доме — с попытками восстановить отобранное при аресте? И планы на будущее — как у всех людей? И знавшей об арестах "повторников", среди которых был родной брат отца?.. И весь арсенал самооправданий, встающий в душе человека, когда ему хочется жить и работать, "как все"? После каждого разговора с детьми я задавала себе два роковых вопроса: "Наврала или не очень? Переоткровенничала или не слишком?"

Вскоре возникли и другие тупиковые ситуации уже социального, а не национального плана. Неизбежное столкновение моих убеждений, знаний, настроений и опыта с моей ролью функционера фашизированного государства в области директивно организуемой педагогики приближалось неотвратимо.

КИЗИМ, КВАСОЛЬКА И ДРУГИЕ

...Волей судеб школа, в которую я была переведена в 1955 году, оказалась втянутой в безуспешную хрущевскую попыт-

ку добиться "добром" от села того, чего Сталин не смог добиться ценой тридцати лет всепроникающего террора.

Заведующий Змиевским* районо был в то время Дмитрий Иванович Кизим — человек своеобразный, с несколькими одиозными чертами и поступками. Ему было в 1955 году, вероятно, лет 37-40. Коренастый, спортивного вида, с живым, татарского типа, красивым лицом (и фамилия у него была татарская: от "кыз" — девушка), неутомимо энергичный, с хорошо подвешенным языком, он легко овладевал не избалованной ораторами учительской аудиторией. На педсоветках и конференциях он сыпал остротами, заводил ироническую полемику — "работал на публику", всегда и в любом положении чувствуя себя немного на сцене, немного актером. Он был честолюбив и жаждал блеснуть, вывести район свой в передовые.

Но, в отличие от чиновников чуть более раннего времени, "на чужих костях" своей карьеры не строил, был отзывчив к людской беде, и демагогия, которой он ловко пользовался, была для него скорее орудием саморекламы, чем инструментом партийной политики. При соответствующей подготовке из него получился бы хороший эстрадный конферансье. Собственных продуктивных идей у него, насколько я помню, в области школьной работы не было, а выдвинуться он очень хотел. Поэтому ему нужны были люди способные и с идеями, разумеется, в духе и в рамках времени. У меня же в ту пору таких идей было хоть отбавляй, и я готова была разделить их с каждым, кто ими заинтересуется. Ему показалось, что на меня можно сделать ставку... Но вернусь к личным свойствам Дмитрия Ивановича. Был он записным сердцеедом и любил выпить. Хорошо танцевал и пел, покровительствовал районному учительскому хору, где сам солировал, и самозабвенно увлекался... художественной вышивкой.

Кончил Кизим свою административную карьеру самым скандальным и неожиданным образом. У него был небольшой

* Ныне "Готвальдовским": "по просьбе трудящихся" старинный украинский город Змиев получил в 1976 году имя чехословацкого Сталина — Клементы Готвальды.

старый "Москвич". На этом автомобильчике от отправился вместе со своей супругой воровать колхозный картофель, лежавший в буртах на поле пригородного колхоза. Никакой нужды в том у высокопоставленной — по меркам райцентра — пары в конце пятидесятых годов, разумеется, не было; сгубила общесоветская традиция: бери все, что плохо лежит, из государственного и колхозного. Супругов спугнул сторож. Они поспешно кинулись к машине, где лежал уже мешок картошки, и уехали. При этом Дмитрий Иванович забыл на куче картофеля пиджак с партийным билетом. Сторож привез пиджак в райком — не догадались ни муж, ни жена предупредить катастрофу старым испытанным способом: вернуться и распить со стариком поллитровку. Кизим был снят с должности, исключен из партии и назначен... заведующим учебной частью большой средней школы другого района Харьковщины. Говорят, что после исключения и понижения в должности он запил вовсю. Мудрено ли? Из князей — да в грязь...

Итак, Кизим направил меня завучем в школу, где вскоре сняли с работы директора, а потом поставили на его место меня. Несколько слов о моем предшественнике. Александр Евгеньевич Варванский приехал в Шелудьковку в начале пятидесятых годов. Это был уже тогда сравнительно пожилой человек, совершенно непьющий — великая редкость для сельских директоров. Он имел солидный интеллигентный вид, носил очки, шляпу, галстук, был ровным, медлительным — этаким нестандартно значительный облик... В обращении был обычно корректен, тем не менее раздражал окружающих невероятно. "Трения" между ним и прежним завучем дошли до скандалов в учительской, причем завуч, человек с другими спокойный и сдержанный, непечатно бранился, а Варванский елеиным голосом твердил свое.

Однажды один из более вспыльчивых наших коллег, инвалид войны, швырнул в Варванского счетами в директорском кабинете... Раздражение это вызывалось упрямством и удивительной тупостью Варванского, а также его невежеством, фантастическим даже для директора сельской школы.

А в Шелудьковке собрались, как на грех, учителя необычно, для тех же сельских условий, высокого профессионального уровня; не все, разумеется, но многие были людьми культурными и мыслящими. На их фоне Варванский выглядел подчас почти слабоумным. Помню, как мы составляли с ним первое в моей жизни расписание уроков. Оставить меня вне своего контроля в столь сложном деле он не хотел, а уловить закономерности этого многофакторного документа был решительно не в состоянии.

Особенно тяжело пришлось и мне, и ему, когда посыпались претензии учителей, и я попыталась исправить расписание без ущерба для школы, но с выигрышем для них, что было, в общем, не так уж трудно.

— Так, так, так, так, — повторял Варванский после бесчисленных моих объяснений. — Так, так, так, так!.. Куда ж это вы пересунули с четверга Ивана Терентьевича? Я же тут после него стоял! На пятницу? Так, так, так, так... А где ж он у вас раньше стоял, до пятницы? В четверг? Да, да, да, да!..

И все начиналось сначала.

Ученики называли его Квасолькой (фасолькой, укр.), и прозвище это крепко к нему пристало.

Поговаривали, что оба диплома его — библиотечного и педагогического институтов — были фальшивыми. Возможно, что это было лишь сплетней, так как диплом невежеству не помеха, как и невежество — диплому и даже двум. Во время войны Варванский якобы был офицером Особого отдела какой-то крупной части, он любил об этом рассказывать. Говорили, что где-то на освобождаемой территории часть его обнаружила пустые бланки дипломов и Варванский заполнил парочку для себя. Если это и было легендой, то поводов для легенды имелось более чем достаточно.

Я далека от мысли винить моих сельских коллег в их невежестве: при их образе жизни и при том заочном "образовании", которое они получали — после своих сельских школ, в которых потом и работали, — как могло быть иначе? Удивительны, скорее, не столь уж редкие исключения из общего правила, которые встречались мне в сельских школах. Но бывали

случаи просто анекдотические. Помню, как-то еще в Князеве, на обязательных политзанятиях, которые вел директор школы (на этот раз изучался "Манифест Коммунистической партии" Маркса и Энгельса), жена его, преподавательница украинского языка и литературы, бывшая, кстати, на хорошем счету в районе, сказала: "Ваня, спроси меня первую: я только начало выучила". Ваня задал вопрос: "Что такое "манифест"?". И Даниловна без колебаний ответила: "Манифест" — это призрак!" Обескураженный Ваня чуть было не ругнулся общедоступно, но положение не позволило, и он только спросил: "Ты что, очумела?" Даниловна же взяла из рук супруга брошюрку и в сердцах ткнула пальцем в страницу: "А тебе что, повылазило? Вот тут написано: "Манифест", а вот тут, ниже: "Призрак бродит по Европе"! Так что же это не призрак?"

А это было уже в другой, десятилетней — и, кстати, пристанционной — школе: молодая учительница объясняет урок по литературному чтению, анализирует "Три пальмы" Лермонтова. "Что это "пилигрим?" — спрашивает кто-то из учеников. "Пилигрим — это торбинка, мешочек для хлеба", — без колебаний отвечает учительница. Когда я, присутствовавшая на уроке в качестве классного руководителя, попыталась выяснить истоки столь странной ассоциации, девушка, покраснев, сказала: "Ах, да, я спутала: торбинка для хлеба — это не "пилигрим", а "пелеринка".

И все-таки Квасолька выделялся даже на таком фоне. Идет урок географии; чтобы не проверять тетрадей, а может быть, по неграмотности, Варванский читал не украинский язык — согласно диплому, а географию. В числе крымских портов называет Симферополь. Ученики возражают — завязывается дискуссия. Кто-то подходит к карте и доказывает, что Симферополь стоит не на море, "А там есть канал!" — говорит учитель. Раскрывают учебник и читают хором — Симферопольского канала в списке судоходных каналов Союза нет. "А это секретный канал! — восклицает Варванский. — Это военная тайна!" Ошеломленные спорщики отступают. На одном из уроков, услышав, что в Европу из Индии

доставляли пряности, кто-то из школьников спрашивает, что это такое. "Это такая мануфактура, материя на костюмы", — уверенно объясняет Варванский.

Директор школы был по положению председателем государственной выпускной экзаменационной комиссии и должен был подписывать все экзаменационные протоколы. Перечитывая мучительно медленно сочинения выпускников, он как-то заспорил с нами — я тоже была членом комиссии — о правописании нескольких слов. Мы доказывали ему свою правоту, предлагали учебник и даже орфографический словарь, но он не стал слушать: "Пойду спрошу у Фоминичны. Как скажет, так и напишем". Оксана Фоминична была женой Варванского, "головой" в семье и во всем их немалом и доходном хозяйстве (бодливая, но очень молочная корова Варванских стояла в школьной конюшне на школьных кормах; были куры и свиньи; за этой живностью ухаживали обычно школьные техработницы; в селе, где жил его тесть, была у Варванского большая пасека). Оксана Фоминична была настоящей красавицей: пышная, с тяжелой каштановой косой, с огромными серо-голубыми глазами, величавая — истинная королева. Окончив не то педагогический техникум, не то два-три курса пединститута, она преподавала сначала русский язык, потом перешла на работу в младшие классы. Она была значительно грамотней своего мужа, но не настолько, чтобы проверять сочинения выпускников, да еще по русской, а не по украинской литературе. Варванский же преклонялся перед ее образованностью. Одну из наших орфографических версий Фоминична подтвердила, остальные отвергла. Варванский собственноручно исправил правильные написания на неправильные и выставил соответствующие оценки; мы записали в сочинениях и протоколах "особые мнения" — на том дело кончилось. В районе утвердили наши оценки, но лишь потому, что я рискнула апеллировать к руководству. Это, естественно, вызвало некоторые недоразумения между мною и руководящей четой: до тех пор мнение "королевы" было законом во всех академических и административных вопросах...

Воевать с Варванским в роли его заместителя мне, к счастью, пришлось недолго: по какому-то из многочисленных на него доносов было начато расследование его финансовой деятельности, обнаружилось злоупотребления, и он был переведен в поселок, где жил его тесть — и где Варванские построили для себя дом — на должность директора восьмилетней школы, правда, с выговором по партийной линии.

Еще один, последний штрих к портрету Варванского. Один из лучших наших учеников, юноша, в памяти которого все прочитанное отпечатывалось с почти фотографической точностью, удивлявший учителей своими способностями к языкам и любознательностью, в конце девятого класса влюбился в дочку Варванских. Девочка была хороша собой, похожа на мать, одета по-городскому, неплохо училась и поразила, вероятно, его воображение своей непохожестью на сельских подружек. Он объяснился в любви. Девочка ничего ему не ответила, но рассказала об этом дома. Варванский высмеял юношу на уроке и несколько раз по различным поводам недобро шутил над ним в классе. Мальчик перестал заниматься, отказался отвечать на уроках. Никакие уговоры не помогли: что-то надломилось в характере, и судьба человека сложилась совсем не так, как могла бы сложиться. В селе, где даже учителя утопали в самогонном море, его постигла участь многих чутких душ: обида, разочарование, недоверие к людям, пьянство... Я долго пыталась его спасти, но мне и свою семью не удалось защитить от зеленого змия, и она распалась...

В 1955 году я стала директором школы. Энергия возраста, интерес к профессии, жажда более широкого поля деятельности, надежды на радикальные перемены, которыми веяло в воздухе 1955 года, — все это вместе заставило меня принять назначение. В 1956 году я вступила в партию. В 1968 году, когда меня — за 9 лет до эмиграции — из партии исключили, я не могла не почувствовать, что это исключение так же закономерно, как и мое вступление в партию на двенадцать лет раньше. Тогда, в 1955-60 годах, после всего пережитого, я все еще думала, что надо быть "на переднем

крае”, не ставя перед собою всерьез вопроса: “На переднем крае”— чего?

ИЛЛЮЗИИ

Есть ли на свете что-либо более прочное, чем “убеждения”, впитанные досознательно? Ведь и слово-то само — “п р е д р а с с у д о к” — говорит о представлениях, перед вмешательством рассудка, разума в область нашего мировосприятия. А мы впитали советскую коммунистическую фразеологию в детском саду. Правда, к счастью, не только она составляла духовную пищу нашего детства. В городе, где мы жили до смерти отца, в старом доме из двух коммунальных и двух отдельных квартир, в начале двадцатых годов поселились несколько молодых семей с детьми близких возрастов (многие из нас родились в этом доме). Нас учили иностранным языкам и музыке; в раннем школьном возрасте брали нам частных учителей русского языка и литературы: считали, что школа дает недостаточно и воспитывает односторонне. Три года учила меня и мою подругу немецкому и русскому языкам бывшая смолянка, жена царского офицера, человек утонченной культуры. Она занималась с нами и западной литературой, учила писать сочинения и даже переводить стихи — с немецкого. Было это лишь между семью и десятью годами, но след оставило весьма существенный. Дети, жившие тогда в нашем доме, надолго сохранили свою дружбу. Любимой игрой этих очень “литературных” и старательно укрытых от жизни — на несколько считанных лет — детей была игра в “хороший конец”. Мы перевоплощались в своих любимых героев и переигрывали их книжные судьбы так, чтобы все в их жизнях оканчивалось благополучно. Разумеется, для нас не существовало никаких пространственных и хронологических ограничений: дядю Тома выручали Д’Артаньян и Чапаев; Чапаева мог выудить из вод Урала капитан Немо. Ирония не охлаждала своей колючей улыбкой нашей фантазии. Квазимодо, Гуинплена и Дею оперировали в городской совбольнице наши отцы, сплошь врачи, спасая первых двух — от урод-

ства, вторую — от слепоты... А уж освобождение Овода, любимая наша военная операция, производилась целой армией революционных героев — от Спартака и Гарибальди до Ворошилова и Буденного...

Смешно? Еще бы... Многие беды в истории проистекали от этой бесцеремонной “улучшательской” страсти? Без всяких сомнений. Но ведь мы тогда об этом не знали. Ведь гнездились в этой детской игре и сопричастность бесчисленным человеческим судьбам, и деятельное сострадание, и объединение всех хороших людей в одну когорту спасателей, с полной уверенностью, что они не откажутся в нее войти, и подсознательная религия взаимопомощи, требование прекращения чужой боли, убежденность в естественной всечеловеческой общности — экстерриториальной и внеэпохальной... Боюсь, что детская эта страсть к “улучшательству”, порожденная воздухом нашего детства, не изжита участниками тех игр по сей день. Изобретенная стайкой детей игра в “хороший конец” перешла позднее в устремления, может быть, столь же беспомощные и иллюзорные, как и она, но тем не менее неистребимые... Не объясняет ли хотя бы отчасти это небольшое путешествие в раннюю пору моей жизни, почему середина пятидесятых годов, полная вдруг оживших призраков и несбывшихся надежд, пробудила в моем поколении такой порыв к деятельности? Не все мое поколение играло в литературные игры, но все оно в своей мыслящей части впитало в себя в первые десять-пятнадцать лет своей жизни не военную и политическую практику большевизма, а его патетику, его декларации и преобразовательную фразеологию. Нам показалось на миг, что история выравнивает свой ход и идет на сближение с этими декларациями. Иллюзия длилась очень недолго, но мы успели впрячься в работу.

Работал в Шелудьковской школе талантливый преподаватель биологии и сельскохозяйственной практики Александр Иванович Малюк. Был он по образованию учителем истории, а не биологии, и окончил всего лишь двухгодичный учительский институт. Он вернулся с войны капитаном, орденос-

цем и до Шелудьковки работал директором семилетней школы в родном селе.

Часть войны он провел в том же селе — в оккупации: вернулся из окружения раненым. Его отец был при немцах старостой, потом отсидел десять лет. Жена Малюка с ребенком ушла от тестя еще до возвращения мужа из окружения: не хотела жить в доме старосты. По словам хорошо их знавших односельчан, Малюк и его жена сотрудничали в оккупации с партизанами. Потом Малюк снова ушел на фронт, дошел до Берлина, служил в Европе. Лет через семь после демобилизации на него написали донос в райком партии: мол, был в оккупации, работал на немцев, отец — бывший немецкий староста... В то же самое время случилось в школе, где он работал, несчастье. Оно врезалось мне в память и во многом предопределило навсегда мои взаимоотношения с родителями учеников. Был в этой школе подросток, тихий-тихий, послушный, внимательный, но перебивавшийся с двойки на тройку, хотя и тупым не казался. Мальчик, по мнению школы, мог, но не хотел учиться. Классная руководительница часто жаловалась родителям на то, что ребенок учится ниже своих возможностей. Пользы эти жалобы не приносили. После очередной двойки учительница приказала мальчику без отца в школу не приходиться. Он поник и вышел. Поздно вечером мать прибежала домой к Малюку: мальчик не вернулся из школы. Его стали искать и нашли в сарае повесившимся. Оказалось, что отец беспощадно и унижительно его избивал после каждой жалобы учителей. Они же фактически отдавали его, все более испуганного, униженного и измученного во власть невежественных, недобрых и растерявшихся перед "нежеланием" сына учиться людей...

После этого страшного происшествия и упомянутого мною доноса Малюк был исключен из партии, снят с директорства и лишен права преподавать "идеологические" дисциплины. Так он попал к нам в школу — преподавать "неидеологическую" биологию.

В своих жалобах на неправильное исключение из партии по ложному обвинению — свою вину в гибели ученика он призна-

вал: недосмотрел — он дошел до XXIV съезда КПСС, но его не восстановили. Полагаю, что, чувствуя за собой такую вину, как связь с немцами, Малюк никогда в родное село после армии не вернулся бы: он был слишком умен и осторожен для этого. Он мог остаться в армии, мог раствориться в огромной стране, но он вернулся. И село стояло за него горой, а доносчика ему так и не указали. Иногда я думаю: не отец ли — в отместку, что тогда ушли от него?.. Но это лишь домыслы, да и с отцом они после его возвращения из тюрьмы помирились. Мне трудно судить о возможных границах его поведения. Была ему свойственна — при большой общительности и контактности — и скрытность — в чем-то существенном, и некоторая хитринка, и изворотливость. И жестковат с женой, например, он бывал. Но талантлив он был — на диво. И как учитель, и как агротехник и зоотехник, и как удивительный украинский комедийный актер, и как режиссер наших самодеятельных спектаклей, и как организатор любого дела: рыбалки, помощи коллегам в строительстве хаты, совместной уборки огородов, вечеринок с застольем и танцами, частых в учительском кругу, ученических развлечений... Все, за что брался этот невысокий, рыжеватый, общительный, но и себе на уме человек, ему удавалось и увлекало других. Сейчас он уже на пенсии и вспоминает, наверное, о нашей с ним сельскохозяйственной эпопее с таким же сложным чувством, как я. В других условиях этот человек похозяйски развернулся бы на земле — себе на радость, людям на пользу, с большим размахом. А так — хорошо, что хоть жив остался.

В селе вообще было скрыто много загадочных и драматических судеб.

О самых близких и навсегда дорогих я здесь не пишу: им место в отдельном рассказе. Но одна запутанная судьба, тогда мне едва приоткрывшаяся, теперь вспоминается все чаще.

Давно открытый философами и физиками парадокс реки, в которую нельзя окунуться дважды, постигается каждым из нас только на собственном опыте. В Шелудьковке я увидела

человека, попытавшегося вернуться в прошлое. Правда, все мы надеялись с фронта, или из лагеря, или из эвакуации вернуться в мир, из которого были вырваны. А он, наш Город, по сей день подлежащий географическому обнаружению в некоей области пространства, с минуты нашей разлуки с ним необратимо отдалялся и от нас, и от себя самого (нами покинутого) во времени. Человек же, о котором говорю, все семнадцать лет своего в прежнем мире отсутствия жил и вовсе в других измерениях.

Сын этого человека был одним из выпускников нашей школы. Собранный, воспитанный, способный, очень трудолюбивый юноша с младших классов нацелился внутренне на институт и поступил на факультет сельскохозяйственного машиностроения после окончания школы. Старшая сестра его оставалась в колхозе, а мать прошла все вдовьи мытарства сельской солдатки военного и послевоенного времени, рядовой колхозницы, не получавшей за мужа даже мизерной пенсии, потому что на него не было "похоронки". Первое письмо отца Анатолий, потрясенный, принес мне. Он был испуган немецким адресом: письмо пришло из Австрии; ему было стыдно — отец попал в плен и остался на капиталистическом Западе; сын был при всем том неправдоподобно счастлив, обретая отца. Как могла, я объяснила ему, что теперь уже, кажется, бояться нечего: невозвращенцев перестали считать преступниками. А уж стыдиться тем более не приходится: плен — несчастье, а не позор, и правильно сделал его отец, что не писал им при Сталине и не пытался вернуться раньше — в тюрьму.

Началась оживленная переписка, пошли посылки, и через несколько месяцев отец Анатолия приехал домой. Почти двадцать лет в его сердце жила девчонка-жена с двумя крошками, один из которых родился уже без него, летом 1941 года. Родное село оставалось в его памяти средоточием покоя и мира. Много ли нужно, чтобы возникло и впечаталось в память чувство покоя и мира? Достаточно запаха свежей глины и травы на ней, бормотания кур под окном, солнечных бликов на белоснежном боку печи... Таких примет много,

они свои у каждого, и сердце верит им больше, чем доводам разума. Он был женат в Австрии, но считал себя неженатым, потому что честно предупредил свою вторую жену о первой — о том, что вернется к семье при первой возможности. Вторая, тоже вдова солдата, забрала его из лагеря военнопленных.

Они жили вдвоем в предместье Вены, в собственном домике, и он ездил на работу на велосипеде. Потом он рассказывал моей ближайшей подруге о тех же приметах мира и счастья, но уже венских и с другой женщиной — с той, которую знал сегодняшней, а не оставшейся в 1941 году на степном полустанке. Его встретили измученная, постаревшая женщина и совершенно незнакомые дети, представления и жизненный опыт коих не пересекались почти ни в чем с его многолетним послевоенным опытом. Его обнял быт, по его новым представлениям, нечеловечески тяжкий. Он говорил, что у себя на заводе, в Вене, был активистом левого профсоюза. В колхозе же нашем, куда он вскоре пошел на рядовые работы, господствовала крутая воля нашего председателя, отступавшая только перед волей райкома, и царил произвол "придурочьей" мафии. Газеты потрясали его одногослицей и бесстыдным, нелепым несоответствием того, что он в них читал, тому, что видел своими глазами — и "там", и здесь. Ни за одну из манивших его неотступно — семнадцать лет! — черт прошлого он не мог теперь ухватиться, потому что их попросту не обнаруживал ни в людях, ни в жизни, ни в самом себе. Я думаю теперь, что тоска, которая глодала его после возвращения, была беспросветней и безнадежней той, прежней, вернувшей его в родное село.

Я как-то встретила его на ферме: высокий, худощавый, с непокрытой — от зимы до зимы — головой, в поношенном, непривычного для села покроя, костюме, он шел, сутулясь, за тачкой: чистил коровник...

Теперь ему некуда было стремиться и нечего было лелеять в душе, кроме боли. На свободную родину он либо вернулся бы из плена сразу, не успев оторваться и измениться, либо приехал бы посмотреть, сравнить и уехал бы снова ко второй жене — всяко бывает... Но эта противоестественная беспово-

ротность шага через границу, хоть в одну, хоть в другую сторону — разве она не протягивает многие нити от безвестной судьбы моего деревенского соседа — к незабвенной могиле в Елабуге и к другим бесчисленным могилам и душам по обе стороны грани?..

НА ПЕПЕЛИЩЕ

Наша с Малюком сельскохозяйственная эпопея возникла из естественного учительского желания занять учеников интересным делом и самим заняться чем-то безусловно полезным и необходимым — вместо той говорильни и "показухи", которой обычно оборачивалось "политехническое обучение"...

Школьное хозяйство началось с растениеводства. Отмена "зверского" налога подтолкнула село к восстановлению вырубленных садов. На пустыре, рядом со школой, Малюк создал питомник плодовых и декоративных деревьев и ягодных кустов. Затем в колхозе был выпрошен кусок забурьяненного огорода, где Александр Иванович с ребятами начал выращивать какую-то особенную капусту и картофель с несколькими ярусами клубней — по китайскому способу. Урожай шел колхозу, который переводил на специальный счет школы его стоимость. Ученики увлеклись этими изобретательными опытами. Сажены из питомника скоро начали раскупаться. К этому времени хрущевские "прожекты" уже начинали трясти село и бесцеремонно перекраивать его жизнь. Между Шелудьковкой и Донцом лежала большая низкая пойма. До коллективизации на пойменных заливных лугах паслись крестьянские лошади и волы, выгуливалось мощное мясо-молочное стадо соседних сел. После коллективизации пойма спасала от гибели колхозный скот.

Но во время своей мясо-молочной горячки Хрущев "зациклился", как говорят теперь наши дети, на стойловом содержании скота, на зеленом конвейере, на кукурузоводстве и на других прогрессивных приемах американского животно-

водства. Пойменные же луга с их даровыми богатствами отвлекали, по мнению его советников, колхозы от этих приемов. Волон и рабочих лошадей в селах к тому времени уже почти не было. Коров приказали перевести на стойловое содержание, а пойменные луга — распахать и пустить под колхозные огороды, обеспечив полив, которого, разумеется, не обеспечили. Пойма была глубоко распахана — по многолетнему, если не вековому луговому покрову. За два-три весенних разлива весь плодородный почвенный слой был смыт и снесен в Донец и в озеро, а луг превратился в выжженную песчаную полупустыню. Колхозным коровам в их стойлах жилось к тому времени почти так же весело, как тем князевским мученицам, о которых я вспоминала выше. Ко мне приехал в конце пятидесятых годов мой друг, тоже школьный учитель, но городской, со своим классом: хотел показать ребятам сельскую жизнь. Я повела их в один из просторных новых коровников, о сверхсовременном оборудовании которого без конца писали в районной и областной газетах.

На ферме было чисто, тихо и полутемно. Когда глаза наши привыкли к слабому освещению, мы увидели, что коровы стоят, подхваченные под животы каждая двумя петлями, петли крепились к потолочным балкам. Кормушки перед животными были пустыми. Происходило все это ранней весной, и коровы не держались на ногах от слабости. Мы вывели детей из сарая раньше, чем городские девятиклассники догадались, в чем дело.

...Так была загублена пойма, навсегда или на долгие годы — судить не мне, а специалистам. Потом пожар перекинулся на свиноводство. Что, казалось бы, могло быть привычнее для украинского крестьянина, чем свиноводство? Но всевластный верховный свинопас ухитрился и здесь предписать и навязать колхозам самый бессмысленный и губительный путь: приказано было начать со взрывообразного увеличения поголовья, чем надо было бы, казалось, закончить огромную подготовительную работу. Без помещений и без коров, без достаточного количества рабочих рук для ухода поголовье

гибло быстрее, чем воспроизводилось, а среди уцелевающих животных пожаром распространялся туберкулез. Даже кукуруза, которую на Украине сажали издавна, превратилась для украинской земли в проклятие; на ней с катастрофической очевидностью проявился один из главных законов советского сельского хозяйства: чем выше оказывается урожай, тем большая часть его погибает.

На фоне этого тотального расточительства и погубления кого могло возмущать неуважительное отношение сельских жителей к собственности колхоза?

О воровстве друг у друга в селах я почти ничего не слышала. Видела за четырнадцать лет нескольких kleптоманов, способных что-то стащить у соседа, — их знали наперечет и за людей не считали. Уходя из дому, люди набрасывали щепку и вставляли в пробой щепку — вместо замка: чтобы посетители знали, что хозяев нет дома... Но из колхоза несли все, что могли, а служащие покупали принесенное. Воровали? Скорее, перераспределяли доход. Зато начальство ничего домой не несло — начальству везли... И начальство ничего никому от щедрот своих не уделяло: оно торговало оптом, на рынке, и не собственноручно, а руками своих издольщиков. Иногда оно попадалось — чаще всего, если кто-то среди своих же оказывался обделенным.

Несколько раз я участвовала в колхозных партийных собраниях, на которых слушались "персональные дела" коммунистов, попавшихся на воровстве у колхоза.

Одно из собраний мне хорошо запомнилось.

Заместитель секретаря партбюро, председатель сельской потребительской кооперации, поймался на попытке украсть мешок сахара. "Голову" сельпо в селе не любили. Толстый, надменный, заносчивый, на людях почти не пьющий, он имел большую семью и дом — полную чашу, но жил как-то обособленно, в стороне от людей, что, в общем-то, для села необычно. На кражах не попадался, но все были уверены, что ворует: как могло быть иначе? На свои пятьдесят-шестьдесят рублей заработка* он так сытно жил, что ли?

*В "новых" деньгах.

Один из сельмаговских грузчиков сообщил в партбюро, что Марко-пузатый — так председателя сельпо дразнили в селе — велел скинуть во дворе продавщицы, своей фаворитки, мешок сахара. Сахар был сразу обнаружен, но председатель, вопреки очевидности, от всего отпирался. Дело легко было бы замять: сахар вернули на склад в целости и сохранности; можно было сказать, что его сбросили у продавщицы для магазина. Другого бы выручили, но не Марка Павловича. Вся мафия встала против него. Почему?.. Вот как объяснял это один из номенклатурных мафиози: "Ты, Марко, упертый, как порченый вол: тебя на горячем поймали, а ты не каешься! Все втихую, все в одиночку привык проворачивать... Вот Грицько Сероус двух телок не оприходовал и с базы свел. Поймали его — он, как честный коммунист, во всем признался! Понял, значит, ошибку свою человек... А ты, Марко, неисправимый..."

"Честный коммунист", который свел с базы двух телок, отделался выговором, а упрямый Марко пошел с вилами на рядовые работы. Правда, пробыл на них недолго: зацепился ночью ногой за оборванный провод высокого напряжения — нашли утром мертвым.

Я все никак не перейду к нашей ферме; потому что нельзя ее вырезать из полотна, в котором переплелось такое множество нитей. Как, например, обойти молчанием самого главного человека в селе, если не считать, конечно, райкомовцев, которые водили упрямого, властного этого человека на ниточках — как марионетку? Федор Михайлович Чудной был одним из моих партийных рекомендателей. Мы постоянно решали с ним уйму вопросов, касавшихся школы. Однажды даже судились: школа перерасходовала электроэнергию, и ей нечем было расплатиться с колхозом. Чудной был человеком опытным, умным, сильным, умевшим лавировать между райкомовским прессом и колхозниками, которые в те времена существенно осмелели. Была, к примеру, в Шелудьковке доярка Мария, которая как-то прилюдно осадил Чудного: "Ты меня, Федор Михайлович, не пугай, это тебя с председателей скинуть могут, а меня с Марии не скинут!" И пошло

гулять по району крылатое выражение... Правда, и Федора Михайловича "с председателей" до самой его кончины, от инфаркта в пятьдесят четыре года, не "скинули": оглядчив был... В селе называли его "Витимуром" — по имени местного помещика, сгинувшего в семнадцатом году. На колхоз Чудной смотрел как на свою вотчину, и, если бы вотчина в самом деле была его, он дал бы ей толк. Себя он не обижал, жену и единственного сына обеспечивал по потребности.

Без курьезов в деревне, где все было, как на ладони, и с Федором Михайловичем не обходилось. На легковушке заскочил он как-то к молодой зазнобе на летний коровник — пастухи стащили из легковушки оставленный там костюм высокого Дон-Жуана, отвезли на велосипеде в село и вручили скромной, болезненной "головихе". Так и приехал "Витимур" домой "из района" в трусах. Тихая его Соня, должно быть, вычистила костюм и повесила в шкаф. Зато, когда Кизим привез однажды домой с конспиративной речной прогулки в кармане пиджака интимный предмет дамского туалета, кем-то туда для смеха положенный, его "головиха" бушевала на весь райцентр. Эти районные анекдоты пересказывались из года в год. Трудно ручаться за их истинность, но они рисуют и характеры, и ситуации.

Чудной выжимал из колхоза все, что надо райкому, а из школы пытался выжать все, что надо колхозу; иначе его из номенклатуры вышвырнули бы не колеблясь, а он уходил из нее не хотел. Но все-таки он с 1954 года ухитрялся обеспечивать своих колхозников лучше, чем соседние председатели. И школе он помогал больше других. В очень трудных случаях он выручал то сеном, то стройматериалами, то транспортом, хотя у самого было с этим туго. У него был оперативный, сытый, живущий, как и он, по потребностям "корпус" бригадиров и счетных работников. Он хорошо кормил нужных людей в районе, чтобы меньше мешались в дела колхоза, меньше давили. Мог размахнуться солидным денежным кушем на библиотеку — утереть носы сельсовету и школе. И книги приказывал брать хорошие: сам их почитывал. К со-

рокалетию советской власти закатил шикарный банкет у себя дома. Самогонку не ставили: водку и вино вносили ящиками, как брали в сельпо. На столах были и куры, и гусь, и утки, даже индюк. Упившихся до полусмерти "слабаков"-учителей развезли через несколько часов по хатам на председательской легковушке, а колхозные бригадиры гуляли после того еще сутки.

Разумеется, на сельском обществе в целом это повальное пьянство сказывалось — и сказывается — так же неотвратимо и непоправимо, как и на отдельных личностях. У нас были целые династии неполноценных учеников из семей алкоголиков. А интеллект? А мораль? Как подсчитать ущерб, наносимый им этим злом?..

Чудной, получавший одних только законных триста рублей "новыми" и сто двадцать трудодней в месяц, не понимал, как учителя живут на свою зарплату. И его бригадиры этого не понимали, потому и относились к нам несколько свысока. Закончу рассказ о сельской элите словами свидетеля несколько неожиданного.

В Шелудьковке было много баптистов. Как директор школы, я отвечала за антирелигиозную пропаганду. Мы ее не вели: не знали, как, некогда было, да и неловко. Баптистов в селе уважали за трезвость, за взаимовыручку, за порядочное поведение. Семья пресвитера жила рядом с нами, я брала у них молоко. Однажды старик-пресвитер сказал мне ласково и невесело: "Эх, Моисеевна, Моисеевна! Объяснили бы вы своему начальству, что партийные пьянкой да воровством куда больше вреда приносят советской власти, чем мы своими молитвами. Во всей здешней партии вы одна не пьете да не воруете. Их надо воспитывать, а не нас..."

Убедить "партийных" не пить и не воровать я не могла. Они также не сумели бы отказаться от себя самих, как старик-пресвитер — от своего Бога.

На таком фоне и в таком окружении мы с Малюком начинали свою работу по созданию фермы. Ферму мы начали с двух свиноматок, помещенных в старом сарае, где раньше стояла корова Варванского. Дети выхаживали поросят, как

выхаживают дорогого щенка в городских домах. Через год мы получили республиканскую премию — пятьдесят кубометров леса! — за парники, за питомники, за сохранение рекордного опороса, за огородные урожаи — и построили просторный свинарник, куда более современный, чем наше лучшее из трех школьное помещение. Еще через год у нас было десять отличных свиноматок, появился племенной хряк и стояло пятьдесят голов молодняка на откорме. Остальных поросят мы продавали молочными частным лицам, кстати, начала покупать у нас поросят для откорма и вся верхушка колхоза: наши были лучше колхозных.

Школьники не только работали, за что начислялись им трудодни с хорошей оплатой, но и старшие поочередно руководили фермой и всем хозяйством, а также вели учет продукции, сбыта и поступлений, натуральных и денежных. Они фиксировали урожаи, опоросы, приход и расход кормов, приход и расход денег, инвентаря и материалов. Бухгалтерия делала то же самое, не сверяя своего учета с ученическим, параллельно. Сопоставляли оба учета только контролеры и ревизоры. Дети были бескомпромиссно честны, а бухгалтера школы вынуждал быть честным двойной учет. Полагаю, что завхоз и шофер, оплачиваемый со спецсчета школы, ловчили по мелочи, на пол-литра водки: то "левой" ездкой на школьной машине ГАЗ-51, нам ее, списанную, подарили военные шефы, то неоприходованным заказом на лесопилке, мы ее поставили для нужд собственного строительства, а потом начали и на ней подрабатывать. Но против этого мы ничего не могли поделать: от пьянства, как от смерти, нет на Руси никаких лекарств.

Когда начали поступать первые деньги от животноводства, мы построили еще и теплицу. Все материалы, корма, медикаменты, инструменты, технику для нашего хозяйства мы добывали, мягко выражаясь, внепланово: выпрашивали у шефов и просто у добрых людей; выменивали на продукцию школы: на саженцы, овощи, рассаду, поросят; отработывали за них в хозяйствах жертвователей... За каждым килограммом гвоздей, кубометром леса, тонной мучных отходов надо

было куда-то ехать, живописуя убедительными словами перед очередными благодетелями все, что мы делаем и намерены сделать.

Как это ни странно, труднее всего было **п о к у п а т ь** . Даже тогда, когда имелись деньги и когда удавалось неожиданно обнаружить в торговых или хозяйственных организациях насущнейше необходимые нам товары. В таких случаях отравляла нам жизнь постоянная необходимость преодолевать недоступные нашему пониманию ограничения. Например: нам ничего не разрешалось покупать за наличные, если стоимость покупки превышала два рубля пятьдесят копеек в "новых" деньгах. Магазинам же целый ряд острее необходимых для любого учреждения товаров разрешалось продавать только за наличные деньги, а не по банковскому перечислению. Под этот запрет подпали краска, олифа, гвозди, стекло, кровельные материалы и другой ремонтно-строительный "дефицит" — опять "дефицит". Зато продукты питания учреждениям (!) почему-то разрешалось продавать по перечислению.

И мы брали в сельмаге или в другом магазине, на складе, в колхозе счет, например, на сахар и мыло, перечисляли деньги по этому счету и покупали... гвозди или олифу. При этом сахар невозможно было списать, а гвозди или олифу — оприходовать... Все это порождало во многих учреждениях злоупотребления и во всех без исключения — нервные перегрузки и путаницу. Помню, что мифические макароны в количестве двух ящиков висели на нас два-три года, и мы списали их только с помощью ревизора райфинотдела Мороза. Гроза расхитителей, человек с репутацией придиры и буквоеда, он проверял нашу школу систематически, так как у нас появилось хозяйство, а значит, и дополнительная возможность злоупотреблений.

Через две-три проверки, всегда неожиданные, он уже твердо знал, что мы не ворует и много работаем, притом с несомненной пользой для детворы. С тех пор он всегда, по собственной инициативе, помогал нам выходить из нелепых искусственных затруднений "плановой" экономики — если не

безупречно законным, то, во всяком случае, не наказуемым уголовно способом. На мой взгляд, Мороз, живущий с семьей на грошевую зарплату и постоянно ездивший по району попутным транспортом в худом пальтишке, был районного масштаба подвижником, боровшимся на два фронта: против повального воровства на местах и против официальных нелепостей, осложнявших и затруднявших работу немногих инициативных людей. Люди были надежно отучены от проявления инициативы в чем бы то ни было, кроме самообеспечения. И последнее было, пожалуй, естественной нашего поведения: для себя в этой ситуации еще можно было что-либо выгадать, обходя законы в своих интересах. Для дела это было отчаянно трудно.

Откормленный молодежь наша ферма продавала по государственным ценам предприятиям общественного питания. Школа снабжала больницу зеленью и ранними овощами из своей теплицы.

На занятиях по столярному и слесарному делу в оборудованных на доходы от фермы мастерских, размещенных сначала в сарае, а потом в специально построенном помещении, ученики выполняли простые, но прибыльные заказы от населения.

Доходы стекались все на тот же школьный спецсчет, которым по положению до середины шестидесятых годов могла распоряжаться школа. Из этих денег был учрежден премиальный фонд для детей — за работу в школьном хозяйстве, за победы на разных конкурсах и олимпиадах, за спортивные успехи, за лучшие выступления на школьной сцене, которую и дети, и учителя, и сельские зрители очень любили. Через два года появился и экскурсионно-оздоровительный фонд. Удалось расширить и помощь нуждающимся ученикам; одному-двум из особо бедствовавших мы даже выделили стипендии. Школа купила у колхоза готовое здание, и в нем разместился интернат для далеко живущих детей. Хозяйство позволило помогать им в питании, содержать воспитателя. Без помощи государства был выстроен единственный в сельских школах Змиевщины спортзал. Купили даже кинопроектор и начали брать учебные фильмы в кинопрокате.

У нас появились, несмотря на подоходный налог и мясopоставки с шести школьных гектаров земли, огромные преимущества перед другими сельскими школами. Весь наш официальный бюджет, кроме зарплаты учителей, которую выплачивал районо с другого счета, бюджет сельской средней школы с шестьюстами учениками — составлял к 1960 году около пяти тысяч рублей в "новых" деньгах. Ферма давала нам от одного опороса всех свиноматок по две-три тысячи, а опоросов было два в год. И все эти деньги расходовались на нужды школы по е е разумению, а не по нелепой, предписанной сверху "постатейной" разбивке...

Но...

Очень трудно мне, неизбежной для короткого очерка скороговоркой, рассказать, как рухнула наша иллюзия независимости — хотя бы частичной и относительной, иллюзия, что нас оставят в покое и разрешат (пусть с ежемесячными придирчивыми проверками), но все-таки делать безусловно для всех полезное и ни для кого, казалось бы, не вредное и не опасное дело. Именно в последнем мы и ошиблись: дело наше было опасным для многих.

Трудности начались, когда многие наши ученики, энтузиасты фермы, получив свидетельства младших зоотехников и младших агрономов, пошли работать в колхозы.

Выращенные, как наши саженцы и рассада, в школьном "питомнике" — в том искусственном моральном и хозяйственном микроклимате, который нам удалось создать, они были до такой степени потрясены открывшейся перед ними изнанкой колхозно-районного руководства сельским хозяйством, что мы всерьез начали за них опасаться. Одни вступили в предрешенный конфликт с колхозным начальством, а это было, как везде и всюду, начальство партийное. Другие воевали с колхозниками, издавна усвоившими лагерные афоризмы типа: "никогда не делай сегодня того, что можно отложить на завтра"; "день кантовки — месяц жизни"; "где бы ни работать — лишь бы не работать"... Третьим грозил психический срыв (с одним из лучших моих учеников, юношей гуманитарного склада, гражданственного во всех реакциях, так и

случилось. К моему ужасу, спасти его от распада психики не удалось). Они шли к нам в школу за поддержкой — но что мы могли сказать и сделать? Распространить свой "заповедник" на места их работы не было ни малейшей возможности. Рассказать им правду об их несчастной стране и повести на стезю Голгофы? Во-первых, тогда мы не понимали этой правды во всей ее полноте и сами. Во-вторых, я ни тогда, ни теперь не считала и не считаю, что кто-то имеет право толкать других на Голгофу, — тем более юношей и девушек, слепо верящих всем, кого они любят, и всему, что слышат от них. Право на опасность есть право сознательного, свободного, личного выбора. Наши ученики вскоре ушли из колхозов, нисколько не оздоровив этих хозяйств.

А положение колхозов становилось все более тупиковым. Дошло до того, что в нашем огромном колхозе имени Мичурина (то же было и в других колхозах) перестали приходить часть приплода на фермах, чтобы иметь резервы для покрытия все возрастающего падежа животных — от бескормицы, тесноты, неухоженности. В то же время себя работники ферм по-прежнему не забывали и воровали этот неоприходованный молодняк больше, чем когда-либо.

И оказалась наша безобидная ферма занозой в глазу для всего начальства: колхозного, районного, областного, хотя были мы многократными лауреатами всевозможных сельскохозяйственных выставок, вплоть до ВДНХ, и почитали свое благополучие очень прочным...

С 1959 года я стала особенно часто болеть. Причин для этого было более чем достаточно и в прошлом, и в настоящем, и во мне самой. В 1960-62 годах мне пришлось провести в больницах более года: костный туберкулез, операция, сердце...

Пока я отсутствовала, ферму, по инициативе руководства колхоза, которому надоели невыгодные для него сравнения, и под давлением райкома партии комсомольская организация школы "подарила" колхозу имени Мичурина. Меня даже не известили об этом. Обком КПСС одобрил решение Змиевского райкома...

Колхоз обязался считать ферму, расположенную на территории школьного учебно-опытного участка, политехнической базой школы, изъяв из нашего ведения бюджет, кормовую базу, реализацию и поставив своего бригадира. Отныне мы могли на ферме только "учиться", проходить производственную практику по зоотехнии и работать за "трудодни".

Когда мы попытались протестовать, Малюку напомнили его "антипартийное" прошлое, а мне инкриминировали тяготение к капиталистическим методам ведения хозяйства, нездоровую установку на прибыльность, на "локальную", то есть школьную, а не общегосударственную выгоду. Нам напомнили также, что выпускники наши не остаются в колхозах, с руководством и товарищами по работе не уживаются и т.д.

Я вернулась из клиники в феврале. На ферме было грязно, мокро и холодно. Доски пола погнили от нечистот. Голодные тощие свиньи грызли штакетник в загонах и грелись на кучах преющей кукурузы, которую они не хотели есть. В кормушках валялась гнилая свекла. Даже днем свеклу и преющие початки грызли лавинообразно расплодившиеся крысы. Теперь это был типичнейший, самый обычный свинарник рядового колхоза, раздавленного хрущевскими авантюрными планами. Дети не хотели заходить на ферму, отказывались дежурить. Малюк и вовсе к ферме не подходил. Нам стыдно было смотреть в глаза друг другу и ученикам.

Прямо на школьном дворе колхозники дорезали больных животных, отправляя туши на Харьковский мясокомбинат.

Я потребовала, чтобы всех животных немедленно забрали в колхоз. Правление отказалось, мотивируя свой отказ недостатком места в колхозном свинарнике и необходимостью учебного участка для школы.

Тогда я привезла на ферму районного педиатра и ветеринара. Были взяты анализы крови и тканей у отправляемых на комбинат добитых свиней. Хотя визуально ветеринар диагностировал пневмонию, анализы показали туберкулез.

Педиатр помог мне добиться перевода оставшихся животных в колхоз и ликвидации фермы.

Наша животноводческая эпопея закончилась. На ферме остались только голодные крысы, долго изводившие соседних домовладельцев...

Я тяжело заболела и вскоре уехала с дочерью из села навсегда...

* * *

Через двадцать восемь лет после начала моей педагогической работы в сельской школе, глубокой осенью 1976 года, когда нами были уже сданы документы в ОВИР с просьбой разрешить нам выезд в Израиль, вдруг раздался в нашей квартире телефонный звонок. Женский голос попросил к телефону меня. Женщина сказала, что когда-то была моей ученицей, но было это настолько давно, что, по всей вероятности, я не вспомню ее. "Вы помните меня, — ответила я, — значит, и я могу вспомнить вас. Где я учила вас?" Женщина назвала одну из первых школ, где я работала... — "Этих детей моих, — сказала я, — я помню всех: они были одними из первых учеников в моей жизни, их было мало, и я была к ним очень привязана..." Женщина назвала свое имя, хорошо мне знакомое и памятное. Ей было шестнадцать лет, когда мы расстались. Мы проговорили около часа. Она оказалась сотрудницей одного из тех бесчисленных советских учреждений, через которые проходили наши бумаги. До этого она не искала меня в Харькове, так как полагала, что я по-прежнему учительствую где-то в селе. "Теперь я знаю, — сказала она, — откуда вы свалились в нашу дыру" (в документах была справка о моей судимости). Она рассказала мне о себе, о своих одноклассниках; мы вспомнили о пережитом вместе. И на прощанье она сказала: "Ничего, крепитесь. Все будет хорошо. Я думаю, что все это к лучшему для вас и для Танечки", моя тридцатилетняя дочь все еще виделась ей пятилетним ребенком. Мы, конечно, не встретились: достаточно смелым был и ее звонок ко мне. Но от этого разговора повеяло ощутимо теплом и доверием класса, дорогим мне по

сей день. В невозможность понимания между людьми я не верю и никогда не поверю. Ни детство, ни лагерь, ни деревня, ни город, ни моя нынешняя новая жизнь не дали мне оснований терять эту веру. Беда лишь в том, что не все спасительные житейские и исторические возможности реализуются в нас и вокруг нас...

ЖУРНАЛ "ЭХО"

Вышел в Париже и продается

второй расширенный номер ежеквартального литературного журнала "Эхо". Журнал редактируется В. Марамзиным и А. Хвостенко и посвящен современному литературному процессу в России.

Номер открывает фотография поэта И. Бродского и художника О. Целкова на венецианском Бьеннале и поздравление Бродскому по поводу присвоения ему степени доктора литературы Йельского университета.

Основа номера — повесть ленинградского писателя Бориса Вахтина "Одна абсолютно счастливая деревня". Почти весь номер составляют также рукописи из России, из самиздата: рассказ Генриха Шефа "Митина оглядка", большая подборка стихов Владимира Уфлянда, стихи Елены Шварц из самиздатского журнала "37", публикация самой значительной поэмы Александра Введенского "Кругом возможно Бог" со статьей Михаила Мейлаха.

Читайте, кроме того, рассказы Давида Дара и Сергея Юрьенена, стихи Леонида Ентина, статью Иосифа Бродского о поэте Константине Кавафисе с переводами из Кавафиса А. Лосева, письмо Брежневу Г. Вишневской и М. Ростроповича и др. материалы.

Продается во всех русских магазинах. Цена этого номера 20 франков.

Только в Европе: Условия подписки в редакции — 60 франков (4 номера).

Адрес редакции: "Echo" c/o V. Maramzine. 302 rue des Pyrenees, 75020 Paris.

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"



Ле Кримс за работой

ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ

В начале века фотография ютилась в подвале пыльной мастерской, где по стенам бродили нищие пауки, и юродивый фотограф с одутловатым лицом, выходя из-за ширмочки с засаленной занавеской, бормотал на ломаном наречии: "Спокойно, снимаю".

Возможно, случилось так, что закомплексованный своей неполноценностью, бедностью и унижением, одержимый великой гордостью и амбициями, маленький дагерротипист — в нестерпимом желании упоительной славы — преодолел себя, обогородив свой механический труд игрой воображения и эксперимента. Так было возвышено утилитарное мастерство до ранга высокого искусства.

Сегодня, как никогда прежде, не вызывает удивления то, что отпечатанные на фотобумаге образы висят в музейных залах наряду с картинами великих мастеров. Думаается, это стало возможным и вероятным именно потому, что фотография, уступив своему изначальному принципу (точно и правдоподобно передавать наблюдаемую действительность), погрузилась в создание мира иллюзорного, существующего только в воображении художника.

Однако и сегодня продолжает существовать фотография документальная, иллюстративная, удачно подмечающая прекрасное в окружающем мире, используя законы гармонии, света, тени и перспективы, унаследованные от живописи 19-го столетия. Но параллельно устарев-

шему языку фотографических иллюстраций существует и непрерывно развивается художественно-экспериментальная фотография, добившаяся официального признания музеев мира именно в силу того, что она близка по мироощущению и эстетике ведущим живописным течениям XX века. Знаменательно и то, что пионеры фотографических экспериментов были сами зачастую авангардными художниками или, по крайней мере, были связаны с авангардной культурой своего времени.

Среди сюрреалистического направления в современной фотографии такой замечательной художественной личностью является Герберт Байер, ученик Кандинского и преподаватель авангардной художественной школы Баухаус, процветавшей в двадцатые годы в Германии.

Мир фотографий Байера нарочито абсурден, в нем соединены воедино несовместимые реальные предметы, словно вырвавшиеся из глубин темного человеческого подсознания, чувственных фантазий, иллюзий, снов-кошмаров и примитивных древних мифов. Технически фотомонтаж и коллаж позволяют связать в цельный пластический образ разрозненные визуальные планы и плоскости.

Фотообразы Байера — это причудливые притчи с фабулой: об обезглавленной прекрасной даме с розой в руке, о вычурной старинной картинной раме, свисающей на тонкой ниточке с небес и обрамляющей водяную гладь и земную твердь, об одиноком горожанине, чьи руки, в которых покоются широко раскрытые глаза, простираются над сумрачными зданиями серого европейского города.

Другой фотограф-сюрреалист, Тимо Хубер, воссоздает в своих фотомонтажах гигантский абсурдный миф современного политического мира. На одной из его фотографий под ногами умиротворенного Папы Римского и президента демократической страны корчатся детские трупы; на другой — одержимые китайцы предаются политической истерии и играют в войну на фоне парящих портретов Мао; и, пожалуй, на его самой выразительной фотографии — больной современный город с головой застывшей женщины разверз свое чрево, уродливо обнажив внутренности.

Фотообразы молодого фотографа Андро Давидгази причудливо сочетают сюрреалистическое искажение реальности с формальными поп-артистскими приемами множественного повторения и кадровой съемки. Предметы, подверженные искажению, — это человеческое лицо и фигура, которые схвачены в определенный момент времени. Находящиеся в движении, в динамическом действии, деформации человеческого лица претерпевают метаморфозы, и художник запечатлевает на фотографиях сам процесс изменения, трансформации портрета.

Фотографии знаменитых художников Ман Рэя и Моголи Наги воссоздают визуальный мир, поразительно схожий с современной абстрактной живописью. Экспериментируя со светочувствительной и рентгеновской пленкой, они создали некий условный, искусственный фотообраз, которому было дано название лучеграфа и фотограм-

мы. Лучеграф и фотограмма — абстрактная, не существующая в реальности конфигурация линий и фактур, удивительно чистых, совершенных форм, которые несут скрытый оккультный смысл, символизируя мистическое содержание мира и творческого воображения.

В последнее время принципы концептуального искусства проникли и в фотографию. Искусство фотографии стало мыслиться как любопытная остроумная идея, интеллектуальная конструкция, в то время, как форма, пластика и красота полностью потеряли смысл и почитаются бессмысленными и никчемными. Интересны творческие эксперименты фотографа-концептуалиста Ле Кримса, основывающего свою эстетику на умозрительной игре парадоксами и парадоксальными причинно-следственными связями. Так, на его фотографиях изображена обнаженная, чье тело поросло шампиньонами — следствие (как объясняет остроумный художник) длительной жизни в темном подвале, в отказе от поисков работы. На другой работе — миниатюрное ню в маске Мики-Мауса окружено воздушными шарами — теми же мики-маусами. Это сочетание объектов и явлений Ле Кримс трактует как электрическое воздействие "маленькой мышки" на воздушные шарики — мики-маусы.

Сегодня фотография, оторвавшись от своей первоначальной задачи и став подлинным искусством, является также порой и отправной точкой для живописных произведений определенного типа.

Современное течение — фотореализм — развилось под непосредственным влиянием фотографии, и художники этого направления пишут свои произведения не с натуры, как это было принято в прошлом веке, а по фотографиям, стремясь передать это особое, "фотографическое", документальное качество.

За последние несколько десятилетий фотография, родившаяся в подвале пыльной мастерской, где по стенам бродили нищие пауки, и сама, ставшая искусством, помогла разрушить элитарные ценности прошлого века и преодолеть разрыв между искусством и жизнью. В авангардной культуре фотография хранит то, что остается от подвергнутых разрушению конструкций и преданных забвению случайных идей, пытаясь соединить бессмертность искусства и мимолетный характер жизни.

Наталья АГРОСКИН



1



2



3



4

Фотографии Герберта Байера



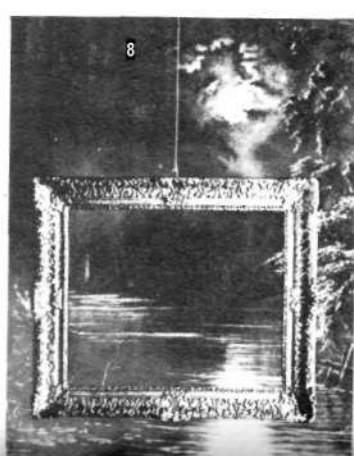
5



6



7



8



9



10

Фотографии Герберта Байера



11

- 1) Профиль-анфас
- 2) Костолом
- 3) Человек побеждает
- 4) Язык письма
- 5) Спокойной ночи, Мари
- 6) Творение
- 7) Автопортрет
- 8) Взгляд на жизнь
- 9) Монумент
- 10) Одинокий житель большого города
- 11) В поисках прошлого

Фотографии Тимо Хубера



1



2

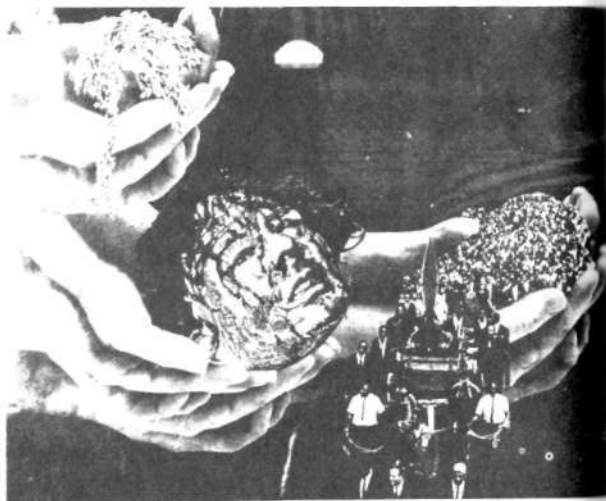


Фотографии Тимо Хубера

- 1) Папа Римский и Президент
- 2) Архитектурный Молох II
- 3) Урожай
- 4) Австриец
- 5) Гигант и массы
- 6) Мистика



5

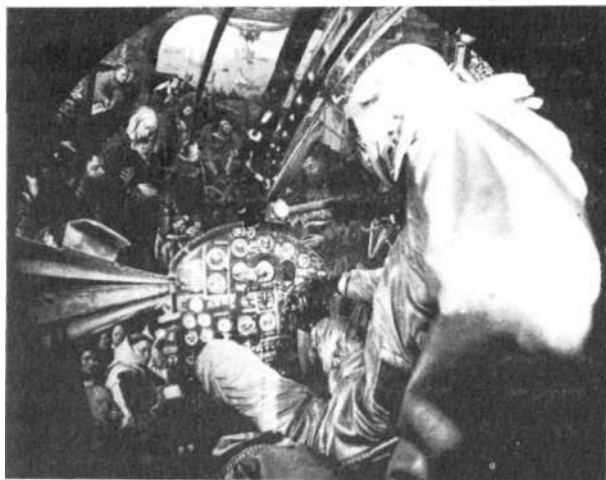


3



6

Фотографии Тимо Хубера



- 7) Культ болезни
- 8) Астронавты
- 9) Большой город

8

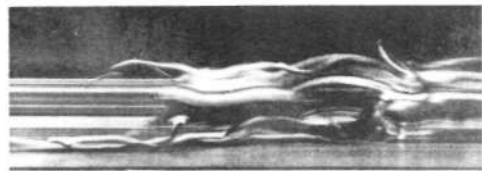


9

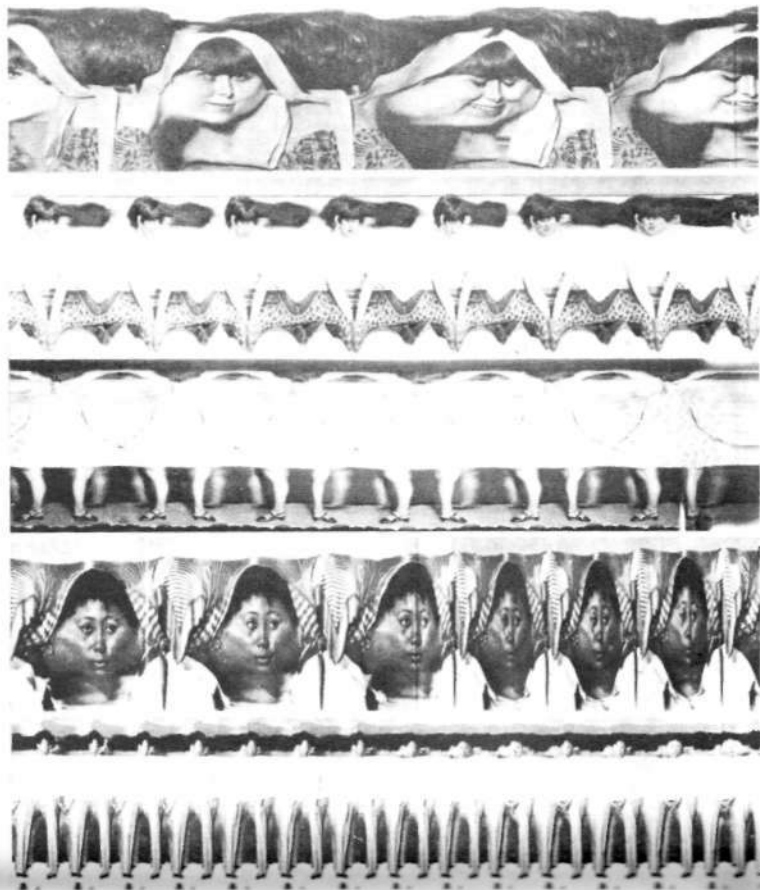


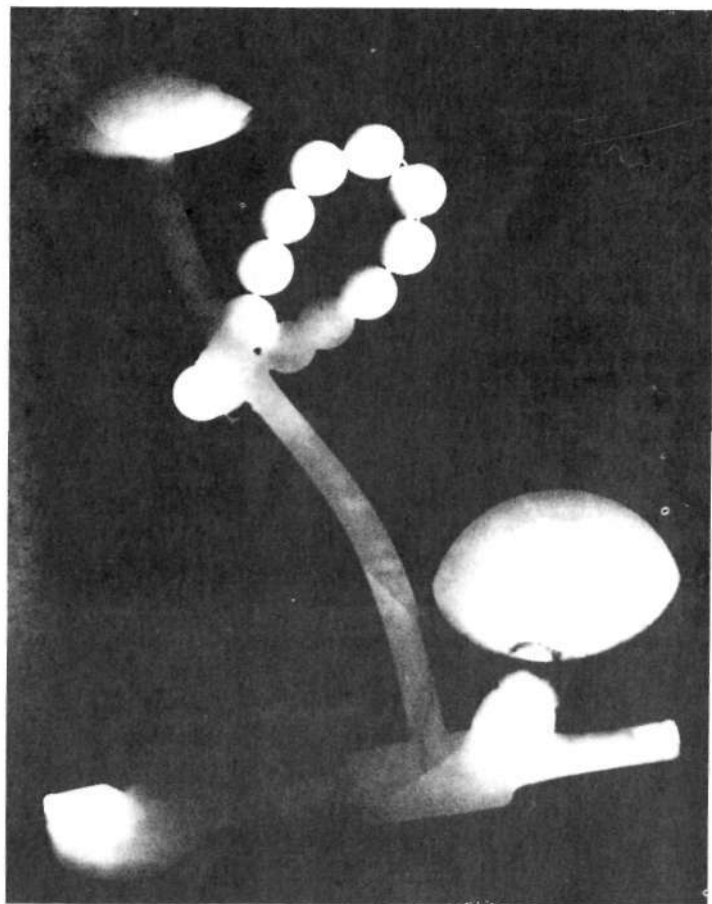
Фотографии Андро Давидгази





Фотографии Андру Давидгэзи





Фотография Ман Рэя

О ПОДПИСКЕ НА 1979 ГОД

С 25 октября 1978 года объявлена подписка на журнал "Время и мы" на новый 1979 год. Основываясь на том, что инфляция в 1979 году составит 45—50% и учитывая не только существующий, но и ожидаемый до конца 1979 года рост типографских, редакционно-издательских и почтовых расходов, принято решение установить на предстоящий 1979 год следующие подписные цены:

Полугодовая подписка (6 номеров) — 384 лиры. Возможна уплата в виде двух чеков, причем первый чек должен быть подписан на текущий месяц, а второй — на последующий.

Годовая подписка (12 номеров) — 684 лиры. Возможна уплата в виде четырех чеков. Первый — на текущий месяц, три остальных — на три последующих.

В указанные выше цены входят все расходы по доставке журнала, а также отчисляемый редакцией в бюджет государства двенадцатипроцентный налог на дополнительную стоимость.

За рубежом устанавливаются следующие подписные цены:
В США и КАНАДЕ: на 6 месяцев - 24%, на 12 мес. - 48 \$.
(авиапочта — 96).

ВО ФРАНЦИИ: на 6 месяцев - 99 F.FR., на 12 мес. - 79 SF.FR. (авиапочта - 350).

В ГЕРМАНИИ: на 6 месяцев - DM 46 (авиапочта - 88)
на 12 месяцев — DM 92 (авиапочта — 176).

Стоимость подписки установлена с учетом того обстоятельства, что "Время и мы" будет и в дальнейшем выпускаться как иллюстрированный литературно-публицистический журнал, выходящий каждый месяц, единственный журнал такого рода издаваемый на Западе.

Для своевременной бесперебойной доставки первых номеров журнала за 1979 год редакция просит оформить подписку до 20 декабря 1978 года.

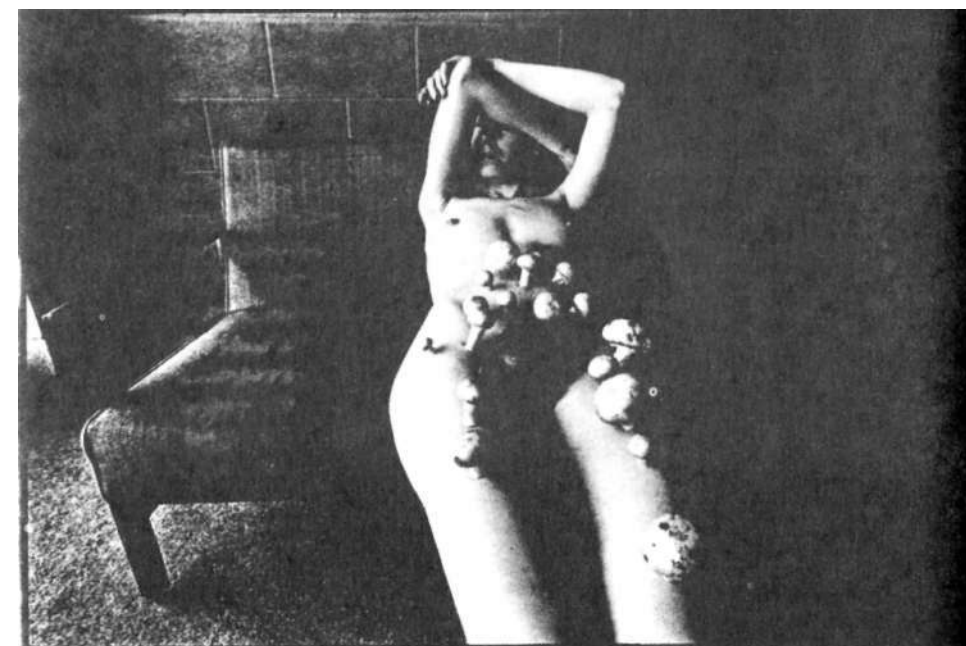
Чтобы подписаться на журнал необходимо выслать заказ и приложить к нему соответствующие чеки — по адресу: П.Я. 24123 Тель-Авив или ул. Нахмани 62/9, Тель-Авив.

Подписной купон см. в конце журнала.

Объявляя подписку на 1979 год, редакция считает необходимым подчеркнуть, что введение новых цен в условиях существующего числа подписчиков и отсутствия субсидии со стороны государства является единственно возможной мерой для продолжения существования журнала. Со своей стороны мы сделаем все необходимое для того, чтобы еще выше поднять уровень журнала и сделать еще более интересным для читателя наше издание.



Фотографии Ле Кримса





ОН МЕЖДУ НАМИ ЖИЛ

Не стало Анатолия Александровича Якобсона... Просто не могу написать "умер", — еще прошло слишком мало времени, еще не верится, что нас от него отделяет то, чему и названия нет на бедном человеческом языке. Его родные и друзья, все, кто его близко знал, словно оцепенели от бессмысленности и непоправимости случившегося несчастья. Можно ли рассказать об этом человеке в некрологе, где вся задача заключается в том, чтобы на одной страничке поставить вехи, отметить начало и конец его жизни, его труда, — всего того, что он успел сделать за 38 лет в России и за 5 лет здесь, в Израиле, до предела насыщенных работой и мучительной, титанической борьбой с болезнью.

Вот как он счел нужным сказать о себе сам в коротеньком предисловии к своей книге "Конец трагедии":

"Родился в 1935 году, москвич. По образованию — историк, но больше занимался литературой. Лет десять был учителем средней школы. В 1968 году обстоятельства принудили меня расстаться с преподавательской работой. Стал писать. То, что делал и собираюсь делать впредь, можно назвать так: литература о литературе. Это не филология и не писательство в чистом виде, но нечто, имеющее черты и того, и другого"...

Он отмечает, что после ареста Даниэля заговорил вслух и ничто не могло отучить его от этой привычки. Последние годы в России он жил с огромной самоотдачей, в постоянном напряжении, как бы ходил по лезвию, и сколько он успел сделать за это время!

Самиздатские письма редкой нравственной силы против произвола и беззакония, редактирование материалов Самиздата, открытые выступления против любой бесчеловечности и несправедливости и одновременно работа над книгой "Конец трагедии", в которой он видел тогда основное из всего им написанного. О московском периоде его жизни еще многое расскажут и напишут его друзья-москвичи. Книге же его суждена долгая жизнь. Это — лучшая книга о судьбе русской интеллигенции серебряного века, о невиданной по масштабам трагедии, постигшей русскую культуру. И одновременно — это одна из лучших чисто литературоведческих работ о Блоке. Филология и писательство? Да, но слитые в столь прочнейший сплав, который редко кому удавался до него.

Он был необычайно талантлив. Природа, как бы сожалея о том, что на его долю выпала тяжелая болезнь, наделила его с исключительной щедростью. А как широк диапазон его работ! Литература, филология, эссе, публицистика, переводы. Нельзя себе представить русские издания Лорки, Готье и Эрнандеса без переводов Якобсона. Он удивительно чувствовал все особенности оригинала, ему удавалось сохранять при минимальных потерях всю эмоционально-художественную силу воздействия подлинника.

Каким редким даром импровизации он обладал, как безраздельно властвовал над своими слушателями, о чем бы ни рассказывал им: о поэзии Пастернака, об Ахматовой, о поездке в Париж или о переводах.

Он жил как бы на четвертой скорости, стремясь все успеть, все сделать, и успевал, и делал, выкладываясь до конца, до последнего предела, сжигая себя. А сколько у него было планов и замыслов! Но настигла последняя боль — и его не стало. И не будет написана книга о Цветаевой, и не переведет он стихов Болеслава Лесмяна, которого ценил, считал одним из самых значительных поэтов нашего столетия. И еще многого не будет...

Когда его хоронили на Масличной горе в Иерусалиме, что-то не реальное и неестественное было в закутанном в саван неподвижном теле на носилках. Нельзя посмотреть ему в лицо в последний раз, увидеть его, и, наверно, поэтому появилось странное чувство, почти уверенность в том, что его там нет, что не его хоронят на этом старом кладбище Иерусалима. На какую-то минуту от этого стало легче...

Он и будет жить в своих книгах, в памяти друзей, которые еще так недавно и не вспоминали о кладбище на Масличной горе, так внезапно ставшем какой-то частью души. Вместо той, которая умерла в нас с его смертью...

Владимир ФРОМЕР

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Дора ШТУРМАН. См. журнал №30.

Людмила ШТЕРН. Родилась в Ленинграде в 1935 году. Окончила Ленинградский Горный институт и аспирантуру Ленинградского Университета. Кандидат геолого-минералогических наук. Работала в геологических экспедициях во многих районах страны, а последние 10 лет в Ленинградском Университете. Выехала в Соединенные Штаты Америки в 1976 году. Сейчас живет в Бостоне, работает геологом в консультативной фирме.

Леонид ГИРШОВИЧ. Родился в Ленинграде в 1948 году. Учился в Московской, а позднее Ленинградской консерватории, которую окончил в 1972 году по классу скрипки. С 1969 по 1973 год работал в симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. В настоящее время играет в Иерусалимском симфоническом оркестре. В журнале "Время и мы" были опубликованы три рассказа Леонида Гиршовича.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ. См. журнал № 32.

Нафтали ПРАТ (Анатолий Парташников). Историк философии и социально-политических учений. Родился в Киеве в 1935 году. Учился в Киевском Медицинском институте, который не окончил из-за ареста. С 1956 по 1960 год пребывал в Потьминских лагерях за "анти-советскую деятельность". После освобождения жил в Киеве, работал санитаром на станции скорой помощи. В 1968 году окончил философский факультет Киевского Университета. Работал переводчиком научной литературы с английского языка на русский. В 1971 году репатриировался в Израиль. Подготовил диссертацию на соискание степени доктора философии в докторантуре Иерусалимского Университета. Специализируется в области русской философии XIX — начала XX века. Опубликовал несколько работ, посвященных анализу советской философии, в разных периодических изданиях за границей.

Владимир СОЛОВЬЕВ. Литературный критик. Родился в 1942 году. Кандидат искусствоведения. В прошлом — член Союза писателей и член Всероссийского театрального общества. Автор более 600 статей. Выступал на страницах журналов: "Новый мир", "Юность", "Вопросы литературы". В марте 1977 года был исключен из Союза писателей после того, как сделал заявление перед западными корреспондентами в Москве о цензуре и разгуле антисемитизма в Советском Союзе. В июне 1977 года покинул СССР. В журнале "Время и мы" был опубликован ряд статей Владимира Соловьева.

КО ВСЕМ ПОДПИСЧИКАМ И ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

Редакция и Правление Фонда журнала "Время и Мы" обращается ко всем подписчикам и читателям в Израиле и за границей, ко всем библиотекам и университетам с просьбой внести посильный вклад в Фонд друзей журнала.

Журнал "Время и Мы" является независимым и не-субсидируемым изданием. Свою задачу редакция видит в том, чтобы способствовать развитию русской литературы за пределами Советского Союза, публиковать на своих страницах лучшие произведения русскоязычных писателей, живущих в Израиле, странах Запада и в России. Средства Фонда будут способствовать дальнейшему развитию журнала, они помогут редакции постоянно выплачивать гонорар авторам, установить связи с русским и еврейским Самиздатом России.

Взносы просим направлять по адресу редакции: ул.Нахмани 62, Тель-Авив. "TIME AND WE".

Или на банковский счет журнала:

Israel Discont Bdnk LTD., branch Akirja account 140317

Редакция приносит глубокую благодарность израильским подписчикам журнала, откликнувшимся на просьбу редакции: Когану (Бат-Ям) и Сарре Мильштейн.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН "ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"

АИТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ДВУХ КНИГАХ

"ИЛЛЮЗИИ" и "КРУШЕНИЕ"

Автор — журналист и писатель, в прошлом корреспондент Московского Радио, фельетонист газеты "Труд", заведующий отделом и специальный корреспондент "Литературной газеты" — рассказывает о своем жизненном пути в Советском Союзе, о преодолении им коммунистической идеологии, о нравах, царящих в советской журналистике и ли тера туре.

Автобиографическое повествование "Покинутая Россия" удостоено второй премии Иерусалимского Университета.

Стоимость каждой из двух книг в Израиле: в магазине — 42 лиры, при одновременной покупке первой и второй книги — 80 лир. При заказе в редакции, соответственно — 36 лир и 68 лир.

Стоимость каждой из двух книг за границей — 3 доллара.

Заказы принимаются по адресу: Улица Нахмани, 62, Тель-Авив, издательство "Время и мы". К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

КОВЧЕГ

Выходит в Париже. Журнал не провозглашает какой-либо эстетической или идеологической программы, его программа — в самом названии. Произведения современных независимых авторов, живущих в Советском Союзе. Произведения авторов всех эмиграции. Переводы и публицистика.

Журнал редактируют А. Крон и Н. Боков. Цена номера в розничной продаже 12 фр. фр.

Адреса для корреспонденции:

Н. Б о к о в. C,ateau du Moulin de Senlis, 91230
Montgeron, France.

А. К р о н. 34, rue Popincourt, 75011 Paris, France

АЛЛА КТОРОВА
ЭКСПОНАТ МОЛЧАЩИЙ И ДРУГОЕ"

Книга Аллы Кторовой, такая московская, вполне могла выйти там (в СССР) в какую-нибудь очередную оттепель. Веселая, горькая, щедрая, умная книга. Сегодняшняя по языку, по образу мыслей, по сюжетам — и по разброду сюжетов. Вольный диалог с читателем. Вольное русское слово. Просто голос — авторский, очень чистый, ни на кого не похожий. Голос, которому хватает дыхания, потому что он такой чистый. И множество, неисчислимо множество других, живых голосов, прямо с магнитофонной ленты, прямо из только что происходящего разговора. ...Женский мир, русский, советский женский мир: женщина-хранительница, женщина-спасительница, женщина-рабочая кляча и женщина-птица (иногда даже Жар-Птица) — это разные героини Аллы Кторовой.

Руфь ЗЕРНОВА, "Новое Русское Слово", 23 апреля, 1978 г.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

Сроком на 6 месяцев — 384 лиры
на 12 месяцев — 684 лиры

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ:

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев - \$ 24
на 12 месяцев - \$ 48

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — F.FR.99
на 12 месяцев — F.FR.198

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев — DM 46
на 12 месяцев — 92

"ВРЕМЯ И МЫ" - 1979 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1979 ГОД

**Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев**

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" —
можно по русски — и высылается по адресу:

Р.О.В. 24123, Tel Aviv и ли **62/9 Nachmani st., Tel-Aviv**

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1979 ГОД

Авиапочтой

сроком на 6 месяцев

Обыкновенной почтой

на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — мож-
но по-русски — и высылается по адресу: **Р.О..В. 24123,**

Tel Aviv, Israel или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**



ИЗДАТЕЛЬСТВО

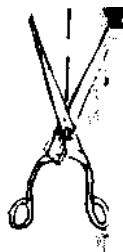
ВРЕМЯ И МЫ

принимает заказы на все виды типографско-издательских работ: издание книг, альбомов, брошюр, рекламных проспектов, выполнение художественно-оформительских и фото-работ.

Заказы принимаются как от израильских, так и зарубежных издательств и фирм, выполняются на русском языке и по значительно более дешевым, чем за границей, ценам.

Выполняются заказы на машинописные работы на русском языке, на редактирование и корректуру рукописей. Принимаются также от израильских и зарубежных фирм все виды объявлений и коммерческой рекламы.

В журнале "Время и мы" бесплатно публикуется реклама книг, выпускаемых издательством.



Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п.я. 24123, Тель-Авив, 621085.
62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, апрель 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки фото Вернера
Мраза — "Посвящение Биллу Брандту".**

**Фото, опубликованные в разделе "Вернисаж "Время и
мы" и на последней странице обложки, взяты из альбома
"GALERIE DIE BRUCKE" (Dealers in fine photography).**

